

МАРИНА ЦВЕТАЕВА



Мой Пушкин

---

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

*Мой Мишкин*



ЮЖНО-  
УРАЛЬСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО



ЧЕЛЯБИНСК  
1978

Текст печатается по изданию:  
Марина Цветаева. Мой Пушкин.  
Издательство «Советский писатель»,  
Москва, 1967.

*Вступительная статья*  
*ВЛ. ОРЛОВА*

*Подготовка текста и комментариев*  
*А. ЭФРОН и А. СААКЯНЦ*

**Ведь Пушкина убили, потому  
что своей смертью он никогда  
бы не умер, жил бы вечно...**

*(Из письма 1931 г.)*

---

*„Сильная вещь — поэзия“*

*1*

Марина Цветаева — писатель большой и разносторонний. Постепенно мы узнаем Цветаеву-поэта. Нам предстоит еще познакомиться с Цветаевой-прозаиком, художником не менее замечательным.

Впрочем, творческая личность Цветаевой нерасчленима, как всегда у большого художника. Поэтому, в частности, столь естественно, органично соединение под одной обложкой стихов и прозы Цветаевой, в которых она говорит о Пушкине. Все вместе это составляет некое идейно-художественное единство, целостный сплав глубоких мыслей и тонких наблюдений.

Цветаева проникновенно писала о многих поэтах. Но истине первой и неизменной любовью ее был Пушкин. Мало сказать, что это ее «вечный спутник». Пушкин, в понимании Цветаевой, был безотказно действующим аккумулятором, питавшим творческую энергию русских поэтов всех поколений — и Тютчева, и Некрасова, и Блока, и Маяковского. И для нее самой «вечно современный» Пушкин всегда оставался лучшим другом; собеседником, советчиком. С Пушкиным она постоянно сверяет свое чувство прекрасного, свое понимание поэзии.

При этом в отношении Цветаевой к Пушкину не было решительно ничего от молитвенно-коленипоклоненного почтения литературной «иконы». Цветаева ощущает его не настав-

ником даже, а соратником. Не обвиняясь именуется она себя «товаркой» Пушкина:

Прадеду — товарка:  
В той же мастерской!

В этом, как и во всем, что писала Цветаева, чувствуется вызов общему мнению, установившимся взглядам, сложившейся традиции. Правда, бросая такой вызов, Цветаева уже имела за плечами мощных союзников в лице самых больших русских поэтов XX века.

Пушкин рано стал «вечным спутником» русской литературы. Но с течением времени в общественном сознании, в поэтической традиции, в быту живой Пушкин постепенно окаменевал и бронзовел, превращаясь в «памятник Пушкину», воздвигнутый в назидание и острастку тем, кто осмеливался переступить в искусстве норму и ранжир. Политические реакционеры, либеральные краснобаи, упрямые старожилы — кто только не пытался сделать из Пушкина строгую гувернантку при дурно воспитанной молодой литературе. Пушкиным стали пугать и запугивать, а для этого нужно было раньше всего пригладить, дистиллировать, выхолостить самого Пушкина, перекрестить его в благочестивого охранителя старозаветных традиций, который видел смысл своей жизни и своего труда не в том, что восславил свободу в жестокий век, но всего лишь «был полезен» прелестью стихов,— как сказано было в фальсифицированной Жуковским надписи на опекушинском монументе.

Русские революционные поэты страстно восставали против казенной лжи, беспорно повлиявшей и на старую академическую науку.

Александр Блок, призывая в январе 1918 года «всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушать Революцию», не случайно вспомнил в числе пошлостей, которые в старом мире «нахрюкивали в семье и школе», и такие благонамеренные прописи: «Пушкин — наша национальная гордость», «Пушкин обожал царя», «Человечество движется по пути прогресса, а Пушкин воспевал женские ножки» (статья «Интеллигенция и

Революция»). А три года спустя Блок произнес свою прощальную — вдохновенную и трагическую — речь о Пушкине, в которой поклялся его «веселым именем» в простых и непреложных истинах, — напомнить же их всегда полезно: «Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать».

В этой же речи содержался призыв обратиться к Пушкину-поэту: «Мы знаем Пушкина-человека, Пушкина — друга монархии, Пушкина — друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: «Пушкин — поэт». Для такой оговорки у Блока были серьезные основания. Изучение Пушкина в начале нашего века настолько разрослось, что превратилось в особую отрасль цехового литературоведения. Но при этом оно все больше мельчало, почти целиком уходило в дебри биографии и быта. Пушкин-поэт вытеснялся Пушкиным-лицеистом, Пушкиным — светским щеголем, кутилой, забавником, бретёром. Возникла очевидная необходимость вернуться к настоящему Пушкину, к его гению, к существу его дела, к его исторической миссии, сняв с величайшего русского поэта густо облепивший его «хрестоматийный глянec» и разрушив загородившие его со всех сторон историко-бытовые декорации.

Именно в этом был смысл и пафос знаменитого боевого выступления Маяковского со стихотворением «Юбилейное» в 1924 году, когда отмечался первый советский юбилей Пушкина (125-летие со дня рождения):

Бойтесь пушкинистов.  
Старомозгий Плюшкин,  
 перышко держа,  
полезет  
с перержавленным.  
 — Тоже, мол,  
у лефов  
появился  
Пушкин.  
 Вот арап!  
 А состязается —  
с Державиным...

Я люблю вас,  
но живого,  
а не мумию.  
Навели  
хрестоматийный глянец.  
Вы  
по-моему  
при жизни  
— думаю —  
тоже бушевали.  
Африканец!

Думая и говоря о Пушкине, о его гении, о его роли в русской жизни и русской культуре, Цветаева была заодно с Блоком и Маяковским. Она прямо вторит Блоку, когда говорит: «Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин Гавриилиады, Пушкин церкви, Пушкин — бесчисленности своих ликов и обличей — все это спаяно и держится в нем одним: поэтом» («Наталья Гончарова»). Но ближе всего она к Маяковскому с его яростным любовным признанием: «Я люблю вас, но живого, а не мумию».

## 2

В отношении Цветаевой к Пушкину, в ее понимании Пушкина, в ее безграничной любви к Пушкину самое важное и решающее — это твердое, непреложное убеждение в том, что влияние Пушкина может быть только освободительным. Порукой этому — сама духовная свобода Пушкина. В его поэзии, в его личности, в природе его гения Цветаева видит полное торжество той свободной и освобождающей стихии, выражением которой, как она понимает, служит истинное искусство (об этом — в ее трактате «Искусство при свете совести»). Пушкинская песня о Чуме — это уже не слова, не стихи, а чистое «наитие стихий», — она написана «языками пламени, валами океана, песками пустыни — всем, чем угодно, только не словами».

Здесь, пожалуй, не к месту вносить поправки в цветаев-



ское понимание и истолкование искусства и творчества. Но нельзя не считаться с ее убеждением: поэт — дитя стихии, а стихия — всегда «бунт», восстание против слежалого, окаменевшего, пережившего себя. Нет ни одного настоящего поэта, который не искал и не находил бы в стихии бунта источник высочайшего вдохновения. Пример — Пушкин, который «Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачева — любил». Именно поэтому у каждого настоящего поэта есть свой «Пугачев», свой образ бунтарской стихии.

Сама любовь настоящего поэта к Пушкину и принятое на себя поэтом «исполнение пушкинского желания» предполагают не рабскую зависимость, а полную свободу от нее. Такую свободу Цветаева видела, например, в «Теме с вариациями» Пастернака, где новый и самобытный поэт, отталкиваясь от пушкинской темы и от образа самого Пушкина, остается новатором, где нет ничего от музейно-реставраторского отношения к наследию, нет ничего собственно «пушкинского» в языке, стиле, форме и фактуре стиха.

Когда Цветаева писала о Пушкине, она твердой рукой стирала с него «хрестоматийный глянец». Разве что в ранних, полудетских стихах «Встреча с Пушкиным» этого еще не заметно. Здесь почти все идет еще от книжного романтизма, и сам Пушкин для юной поэтессы больше повод, чтобы рассказать о себе, показать, как сама она по-пушкински мятежна и своевольна. Впрочем, и здесь сквозь девичье кокетство и книжно-романтическую бутафорию проступает живой образ «курчавого мага».

Следующая ступень пушкинской темы в лирике Цветаевой — спор за Пушкина против Натальи Николаевны Гончаровой (спор этот будет продолжен в прозе — в очерке о художнице Наталье Гончаровой, тезке и однофамилице жены поэта). Эскизно набросанный в стихотворении 1916 года портрет небрежной красавицы, которая теребит в прелестных ручках сердце гения и «не слышит стиха литого», в 1920 году развернут в мастерски, тонкой кистью написанную картину обреченной любви пылкого арапа к его равнодушной Психее.

Но по-настоящему, в полный голос Цветаева сказала о своем Пушкине в замечательном стихотворном цикле, который был опубликован (не полностью) в эмигрантском парижском журнале «Современные записки» в юбилейном «пушкинском» 1937 году. Стихи, составившие этот цикл, были написаны задолго до того (в 1931 году), но в связи с юбилеем, как видно, дописывались,— об этом свидетельствуют строчки:

К пушкинскому юбилею  
Тоже речь произнесем...

Нельзя не учитывать особых обстоятельств, при которых появились цветаевские «Стихи к Пушкину». А именно — атмосферы и обстановки юбилея, устроенного Пушкину белой эмиграцией. Юбилей этот проходил под флагом политической демагогии: послужил более или менее подходящим поводом для очередной иеремиады о судьбах «истинно национальной культуры», очутившейся в изгнании, и о «попрании» национально-культурных традиций в Советском Союзе. Именно белоэмигрантская литература с особенным рвением тщила превратить Пушкина в икону, трактовала его как «идеального поэта», в духе как раз тех понятий, против которых столь яростно восстала в своих стихах Цветаева: Пушкин — монумент, мавзолей, гувернер, лексикон, мера, грань, золотая середина.

В этом смысле цветаевские стихи насквозь полемичны. Ее Пушкин — самый вольный из вольных, бешеный бунтарь, который весь, целиком — из меры, из границ (у него не «чувство меры», а «чувство моря»), — и потому «всех живучей и живее»:

Уши лопнули от вопля:  
«Перед Пушкиным во фронт!»  
А куда девали пёкло  
Губ, куда девали — бунт  
Пушкинский? уст окаянство?  
Пушкин — в меру пушкиньянца!

Обличительный, «антипушкиньянский» пафос Цветаевой воспринят был в определенном кругу столь болезненно, что «братские авгуры» из редакции «Современных записок» не ре-

шились даже напечатать ее стихи целиком: из стихотворения «Бич жандармов, бог студентов...» было выброшено восемь строф (9, 10, 13, 14, 17, 18, 19 и 20-я), а пятое и шестое стихотворения («Поэт и царь») вообще были отвергнуты.

Позиция самой Цветаевой совершенно ясна:

Пушкинскую руку  
Жму, а не лижу...

Отношение ее к Пушкину — кровно заинтересованное и совершенно свободное, как к единомышленнику, товарищу по «мастерской». Ей ведомы и понятны все тайны пушкинского ремесла — каждая его скобка, каждая описка; она знает цену каждой его остроты, каждого слова. В это знание Цветаева вкладывает свое личное, «лирическое» содержание. Литературные Аристархи, арбитры художественного вкуса из среды белоэмигрантских писателей в крайне запальчивом тоне упрекали Цветаеву в нарочитой сложности, затрудненности ее стихотворной речи, видели в ее якобы «косноязычии» вопиющее нарушение узаконенных норм классической, «пушкинской» ясности и гармонии.

Подобного рода упреки нисколько Цветаеву не смущали. Она отвечала «пушкиньянцам», не скупясь на оценки («То-то к пушкинским избушкам лепитесь, что сами — хлам!»), и — брала Пушкина себе в союзники:

Пушкиным не бейте!  
Ибо бью вас — им!

Выходит, по Цветаевой, что зря «пушкиньянцы» пытаются сделать из Пушкина пугало для независимых поэтов, идущих дорогой поиска и изобретения («соловьев слова», «соколов полета»). Во всяком случае, говоря за себя и о себе, Цветаева настаивает на своем кровном родстве именно с Пушкиным. В четвертом стихотворении цикла пушкинский стиль, пушкинская поэтика характеризуются резко экспрессивными образами, в наибольшей степени отвечающими существу и характеру бурной, исполненной огня и движения поэзии Цветаевой. Пушкинский стиль объясняется здесь через такие понятия, как

мускульная сила, полет, бег, борьба, биенье конского сердца, соревнование весла с морским валом.

Так Цветаева делает из Пушкина орудие своей борьбы за обновление поэзии. Пожалуй, можно, не особенно рискуя впасть в ошибку, догадаться, кого именно из литературных староверов, своих оппонентов, «била» она Пушкиным. В первую голову это мог быть Ходасевич, ее прямой антипод, последовательный противник, неизменный соперник. Не вступая в открытую полемику, они следили за работой друг друга с ревнивым беспокойством.

Это, действительно, крайние противоположности. У Ходасевича — настойчивое стремление к «классической» ясности, стройности и завершенности, подчинение законам меры и гармонии, строгое соблюдение правил и норм. У Цветаевой — судорожные поиски новых форм, нового стихотворного языка, яростное нарушение всех и всяческих законов, правил и норм. Где Ходасевич цедит сквозь зубы, там Цветаева кричит на крик. Цветаевское «косноязычие» было нетерпимо Ходасевичу с его убежденным консерватизмом и реставраторством в поэзии. Уверенно считая себя лучшим из живущих на земле русских поэтов и единственным призванным хранителем заветов национальной поэзии, Ходасевич освящал свои притязания именем и авторитетом Пушкина. (Он к тому же занимался изучением жизни и творчества Пушкина и считал себя пушкинистом-исследователем.) В сущности, он одному себе присваивал высокое право именоваться учеником Пушкина. Так, обращаясь к России, он говорил (в отличных, впрочем, стихах):

В том честном подвиге, в том счастье  
  песнопений,  
Которому служу я в каждый миг,  
Учитель мой — твой чудотворный гений,  
И поприще — волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами  
Еще порой гордиться я могу,  
Что сей язык, завещанный веками,  
Любовней и ревней берегу...

Цветаева склонна была видеть в подобных выступлениях Ходасевича в защиту поэтического языка и предания выпад в ее сторону. Во всяком случае, прочитав стихотворение Ходасевича «Жив бог! Умен, а не заумен...», обличающее «заумную» поэзию, она приняла его на свой счет, хотя прямых оснований для этого у нее, пожалуй, и не было. Духом скрытой полемики с консерваторами вроде Ходасевича проникнуто и запальчивое утверждение Цветаевой (в трактате «Искусство при совести»), будто пресловутые понятия «аполлоновское начало» и «золотое чувство меры» — всего лишь в ушах лицеиста застрявшая латынь.

Сама она воодушевлялась только безмерностью («Безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств»). И живо ощущала ее в Пушкине, в его поэтическом характере. Недаром из всего Пушкина самым любимым, самым понятным, самым своим оставалось для нее:

Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю...

Пушкин для Цветаевой не «мера» и не «грань», но источник вечной и бесконечной стихии поэзии, воплощение ее безостановочного потока. Настоящий поэт может, конечно, «выйти из Пушкина», но именно — выйти («раз из — то либо в (другую комнату), либо на (волю)», — на своем точном языке поясняет Цветаева). Но он никогда не «остается» в Пушкине («...остающийся никогда в Пушкине и не бывал»). В порядке доказательства Цветаева берет крайний, казалось бы, пример: Пушкин и Маяковский. Вопреки всему, что наговорили о Маяковском литературные чистоплюи и реставраторы (тот же Ходасевич относился к Маяковскому с ненавистью), Цветаева настаивает на внутреннем родстве его с Пушкинным — «самым современным поэтом своего времени, таким же творцом своей эпохи, как Маяковский — своей».

Юный Маяковский, в представлении Цветаевой, восставал «не против Пушкина, а против его памятника», который чуждым грузом навалили на поколенья. В самом сближении

имен Пушкина и Маяковского замечательны и свобода Цветаевой от всяческих предвзятостей и способность ее охватывать широкие исторические планы и перспективы. Вывод, к которому пришла она, знаменателен тем более, что сделан был еще в 1931 году, сразу после гибели Маяковского: «Пушкин с Маяковским бы сошлись, уже сошлись, никогда, по существу, и не расходились. Враждуют низы, горы — сходятся».

### 3

Центральное место в пушкинской книжке Марины Цветаевой занимают два очерка — «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев», написанные в 1936 и 1937 годах.

В первом очерке очень непринужденно рассказано о том, как ребенок, которому суждено было стать поэтом, с головой окунулся в «свободную стихию» пушкинской поэзии. Рассказано, как всегда у Цветаевой, по-своему, всецело в свете личного душевного опыта. Может быть (и даже весьма вероятно), кое-что в этих воспоминаниях переосмыслено либо домыслено, но все равно рассказ подкупает удивительно тонким и глубоким проникновением в детскую психологию, в богатую и прихотливую детскую фантазию.

Наиболее значителен из всего, что Цветаева написала о Пушкине, великолепный очерк «Пушкин и Пугачев». Не приходится сомневаться, что в необозримой пушкинской литературе этому небольшому, но столь весомому очерку обеспечено видное, почетное место. Совсем не много на памяти произведений, в которых так убедительно, с таким тонким пониманием было бы сказано о народности Пушкина. А то, что говорит это большой русский поэт, во много раз повышает цену сказанного.

«Пушкина и Пугачева» Цветаева написала уже на исходе своего эмигрантского полубытия, когда прошли долгие годы тяжелых заблуждений, непоправимых ошибок, мучительных сомнений, слишком поздних прозрений.

Уже были написаны «Стихи к сыну», «Стол», «Тоска по

родине!...», «Челюскинцы», «Читатели газет». Уже было во всеуслышание сказано:

Сегодня — да здравствует  
Советский Союз!

Рубеж, разделивший Цветаеву и неразоружившиеся белоэмигрантские круги, к этому времени (1937 год) стал очевидным для обеих сторон. Цветаевой уже владело дорогой ценой купленное убеждение, что ни «миновать», ни «отвергнуть» Октябрьскую революцию невозможно (внутренне невозможно), что «все равно она уже в тебе — и извечно (стихия), и с русского 1918 года, который — хочешь не хочешь — был» («Поэт и время», 1932 г.).

Поэтому, конечно, не случайно, а, напротив, в высокой степени знаменательно, что в дни пушкинского юбилея Цветаева, минуя все остальные возможные и даже притягательные для нее темы, связанные с Пушкиным, обращается к теме народного революционного движения, к образу народного вожака — Пугачева. В самом выборе такой темы чувствуется вызов юбилейному благонавию и тому пиетету, с которым белая эмиграция относилась к повергнутой славе бывшей России и ее павших властителей. Ненависть, с которой говорила Цветаева о «певцоубийце» Николае, презрение, с которым отзывалась она о «белорыбице» Екатерине, не могли не смущать белоэмигрантскую элиту как совершенно неуместная в юбилейной обстановке выходка.

Для самой Цветаевой взятая ею «историческая» тема, конечно, приобрела особый, остро современный смысл. В ее понимании и толковании тема эта звучала так: стихийно свободный поэт — и великий мятежник, освободительная сила искусства — и питающая его народная правда. Личный опыт переживания революционной эпохи тут безусловно присутствовал. У Пушкина, в «Капитанской дочке», Цветаева нашла такое разрешение темы, которое отвечало уже не только ее душевному настрою, но и ее раздумьям о своей человеческой и писательской судьбе.

В очерке «Мой Пушкин» Цветаева, рассказывая, как еще в раннем детстве страстно полюбила пушкинского Пугачева, обронила такое признание: «Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка» (в известной сказочной ситуации). Такова уж была ее природа: любить наперекор. И далее: «Сказав «волк», я назвала Вожатого. Назвав Вожатого — я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего — любить. Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что Вожатый заведет нас далёко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь».

Обещание это реализовано в «Пушкине и Пугачеве». Речь идет здесь о главном и основном — о понимании живой жизни с ее добром и злом. Добро воплощено в Пугачеве. Не в Гриневе, который по-барски снисходительно и небрежно наградил Вожатого заячьим тулупчиком, а в этом «недобром», «слихом» человеке, «страх-человеке» с черными веселыми глазами, который про тулупчик не забыл.

Пугачев щедро расплатился с Гриневым за тулупчик: даровал ему жизнь. Но, по Цветаевой, этого мало: Пугачев уже не хочет расставаться с Гриневым, обещает его «поставить фельдмаршалом», устраивает его любовные дела — и все это потому, что он просто полюбил прямодушного подпоручика. Так среди моря крови, пролитой беспощадным бунтом, торжествует бескорыстное человеческое добро.

В «Капитанской дочке» Цветаева любит одного Пугачева. Все остальное в повести оставляет ее равнодушной — и комендант с Василисой Егоровной, и «дура» Маша, да в общем и сам Гринев. Зато огненным Пугачевым она не устает любоваться — и его самокатной речью, и его глазами, и его бородой. Это — «живой мужик», и это — «самый неодолимый из романтических героев». Но больше всего привлекательно и дорого Цветаевой в Пугачеве его бескорыстие и великодушие, чистота его сердечного влечения к Гриневу. «Гринев Пугачеву



нужен ни для чего: для души» — вот что делает Пугачева самым живым, самым правдивым и самым романтическим героем (Цветаева согласна его сравнить разве что с Дон-Кихотом).

В этой связи Цветаева касается большого вопроса — о правде факта и правде искусства. Почему Пушкин сперва, в «Истории Пугачева», изобразил великого бунтаря «зверем», воплощением злодейства, а в написанной позже повести — великодушным героем? Как историк он знал все «низкие истины» о пугачевском восстании, но как поэт, как художник — начисто про них забыл, отмел их и оставил главное: человеческое величие Пугачева, его душевную щедрость, «черные глаза и зарево».

Ответ Цветаевой неполон, но многозначителен. Пушкин поступил так, потому что истинное искусство ни прославления зла, ни любования злом не терпит, потому что поэзия — высший критерий правды и правоты, потому что настоящее «знание поэта о предмете» достигается лишь одним путем — через «очистительную работу поэзии».

С таким слишком резким расчленением Пушкина на историка и на поэта согласиться, конечно, трудно. Цветаева не учитывает в должной мере ни задания, которое ставил перед собой Пушкин в каждом случае, ни того существенного обстоятельства, что понимание им личности и дела Пугачева за время, прошедшее между «Историей Пугачева» и «Капитанской дочкой», углубилось и обогатилось (вопрос этот выяснен в пушкинской литературе), ни того, наконец, что в «Истории Пугачева» он был больше связан цензурными условиями.

Но вывод Цветаевой не теряет от этого в своей значительности: Пушкин в «Капитанской дочке» поднял Пугачева на «высокий помост» народного предания. Изобразив Пугачева великодушным героем, он поступил не только как поэт, но и «как народ»: «он правду (правду факта.—В. О.) — исправил... дал нам другого Пугачева, своего Пугачева, народного Пугачева». Цветаева зорко разглядела, как уже не Гринев, а сам Пушкин подпал под чару Пугачева, как он влю-

бился в Вожатого. Так в цветаевском очерке на первый план выдвигается тема народной правды, помогающей поэту ярче, пристальнее взглянуть в живую жизнь.

Снова и снова возвращается Цветаева к самому Пушкину — к его личности, характеру, судьбе, трагедии, гибели. Естественно возникает неотразимое сопоставление: «Самозванец — врага — за правду — отпустил. Самодержец — поэта — за правду — приковал». Пушкин становится олицетворением стреноженной свободы. Николая I Цветаева ненавидит, как можно ненавидеть личного врага, который здесь, рядом с тобой. Это «жалкий жандарм», «зверский мясник», но ярче всего горит на нем клеймо «певцоубийцы».

Другая грань проблемы: поэт и власть — в стихотворении «Петр и Пушкин». Здесь Цветаева берет пушкинскую же тему, по-своему переворачивая «Стансы». У нее все повернуто в сторону Петра (вспоминается крылатая мысль Герцена: Петр бросил России вызов «образоваться» — и она через сто лет ответила «громадным явлением Пушкина») и против «подонка» Николая с его фальшивым «отечеством чувств» и жандармской хваткой.

Разумеется, не все в пушкинской книге Цветаевой звучит одинаково убедительно и бесспорно. В ее очерках есть и пробы и просчеты. Кое-чего она просто не знала, — так, она сама упоминает об оставшихся ей неизвестными документах пугачевского процесса, «из которых Пугачев встает совсем иным», нежели в изображении официальных и официозных историков царской России. Встречаются у Цветаевой и явные натяжки, — к примеру, когда она говорит, что Гончарова вышла за Пушкина «из страха перед страстью» или что влюбленность поэта в Гончарову — «тяга гения — переполненности — к пустому месту». Совершенно не оправдано, конечно, сближение пушкинского Пугачева со «странным мужиком» (Распутиным!) из гумилевского стихотворения. Наконец, в очерках Цветаевой сказались и некоторые свойственные ей и до конца так и не изжитые серьезные заблуждения, как, например, склонность к поэтизации всякого мятежа.

Но дело, само собой, не в обмолвках и не в натяжках. Это отдельные частности, не колеблющие впечатления от целого. Очерки Цветаевой замечательны глубоким проникновением в самую суть пушкинского творчества, в «тайны» его художественного мышления. Так писать об искусстве, о поэзии может только художник, поэт.

Меньше всего это похоже на «беллетристику», но это художественно в самой высокой степени.

В прозе Цветаевой воплощен особый тип речи. Она, эта речь, очень лирична, а главное — совершенно свободна, естественна, непреднамеренна. В ней нет и следа беллетристической гладкости и красоты. Больше всего она напоминает взволнованный и потому несколько сбивчивый спор или «разговор про себя», когда человеку не до оглядки на строгие правила школьной грамматики. В самой негладкости этой быстрой, захлебывающейся речи с ее постоянными запинаниями, синтаксическими вольностями, намеками и подразумеваниями таится та особая прелесть живого языка, какую мы находим, скажем, в «неправильностях» Герцена, Толстого и Достоевского. Как тут не вспомнить парадокс Уайльда: «Только великому мастеру стиля удастся быть неудобочитаемым».

И вместе с тем несвязная, казалось бы, цветаевская речь на редкость точна, афористически сжата, полна иронии и сарказма, играет всеми оттенками смысловых значений слова. Несколько резких, молниеносных штрихов — и пожалуйста: готов убийственный портрет Екатерины: «На огневом фоне Пугачева — пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров — эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой».

Самая разительная черта словесного стиля Цветаевой — нерасторжимое единство мысли и речи. Сама сбивчивость и затрудненность ее прозы (как и стихов, впрочем) — от богатства мысли, спрессованной в тугий комок, и от интенсивности ее выражения. Подчас в запинаниях, в негладкости цветаевской речи чуть ли не физически ощутим механизм этого слож-

ного взаимодействия, самый ход мысли, обретающей свою форму в слове.

Цветаева утверждает, что нигде, может быть, Пушкин не был до такой степени поэтом, как в «классической» прозе «Капитанской дочки». Стихия поэтического дышит и в пушкинских очерках Марины Цветаевой. В них она — такой же своеобразный и уверенный мастер слова, каким была в стихах, такой же вдохновенный поэт со всей присущей ей безмерностью чувств — огненным восторгом и бурным негодованием, всегда страстными и нередко пристрастными суждениями. Именно накал непосредственного чувства и энергия его словесного выражения делают эти очерки прозой поэта.

Остается повторить за Цветаевой: «И сильна же вещь — поэзия».

В л. Ор л о в

## МОЙ ПУШКИН



Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей — Jane Eyre — Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери — «Дуэль».

Снег, черные прутья деревьев, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням — а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый — Пушкин, отходящий — Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревьев, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и — вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, — об том животе поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась се-

## МОЙ ПУШКИН

стра. Больше скажу — в слове «живот» для меня что-то священное,— даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключаящего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт — и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила — поэта. А Гончарова, как и Николай 1-й — всегда найдется.



— Нет, нет, нет, ты только представь себе! — говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты,— смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал, и еще сам себе сказал: браво! — тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: — Смертельно раненный, в крови, а простил врагу! Отшвырнул пистолет, протянул руку,— этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти, и не подозревая, какой урок — если не мести, так страсти — на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревьев, черная и белая картина — «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта — черню.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность — я поделила мир на поэта — и всех, и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой — «Явление Христа народу», снискогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале — «Татары» — татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и — в спальне матери — «Дуэль». Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и «Крещение» снискогда не виденными черными кудрявыми орлоносими голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух, — и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.



Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, — черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. Раз негр — черные\*.

---

\* Пушкин был светловолос и светлоглаз.

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт — негр, поэт — негр, и поэта — убили.

(Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и сущих не негр, и какого поэта — не убили?)

Но и до «Дуэли» Наумова — ибо у каждого воспоминания есть свое до-воспоминание, предок-воспоминание, прашур-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень — которая всегда оказывается — или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые, высочайшие и далечайшие звезды, — но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин — когда я еще не знала, что Пушкин — Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин — всегда и от всегда, — до «Дуэли» Наумова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец — реку, — черный человек выше всех и чернее всех — с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятником Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом — о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи! — плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник Пушкина».



## МОЙ ПУШКИН

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина — до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина — посидим», чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина — верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая\*.

Памятник Пушкина был — обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городской Игнатьев — кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко — памятник Пушкина был одна из двух, третьей не было, ежедневных неизбежных прогулок — на Патриаршие Пруды — или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала — к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карльсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом подняв голову смотреть на чернолицего и чер-

---

\* Там верстою небывалой  
Он торчал передо мной... («Бесы»)

Пушкин здесь говорит о верстовом столбе.

Ни огня, ни черной хаты...  
Глушь и снег... Навстречу мне  
Только версты полосаты  
Попадаютя одне... («Зимняя дорога»)

норукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость,— лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножью мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку — они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос — знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами,— приставлять к гигантову подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост — сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! — и так как черный был явлен гигантом, а белый комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь»... с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто меня, тогда — может, потому что я ведь еще вырасту»... И, одновременно: а если одна на другую сто фигурок, выйду — я? И ответ: — нет,

не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые.

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом — и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным — я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки — то, что Памятник-Пушкина — для меня. Но что же тогда для фигурки — Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья — внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает — дом. Или — гром. А она для него — такая уж маленькая, что он ее тоже — просто не видит. Он думает — просто блоха. А меня — видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту. Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

...Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной и снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, — к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, от него — спиной, и к нему — спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое,

## МОЯ ПУШКИН

хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо.)

Памятник-Пушкина я любила за черноту — обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина — совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник-Пушкина был черный как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин — негр, я бы знала, что Пушкин — негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщенность всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным — рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина — черный памятник Пушкина моего дограмотного младенчества и всея России.

...Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество и под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот — всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

— На Патриаршие Пруды или...?

— К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах — патриархов не было.



Чудная мысль — гиганта поставить среди детей. Черного гиганта — среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство — обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я — так явно предпочитаю — черную. Памятник Пушкина, опережая события — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает — слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ — самых далеких и как будто бы — самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство — ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет — раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала, с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма — за гения.

Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин — символ. Чудная мысль — чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина

явно стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль — наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклона — дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии — Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль — гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень — цепь, камень — цепь, камень — цепь, всё вместе — круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний, Пушкин, ты — мой Пушкин» и разомкнувшийся только дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой, прошлой, сущей, будущей, качалась — не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. — «Амбир»? — Амбир. — Empire — Николая 1-го Империя.

Но с цепями и с камнями — чудный памятник. Памятник свободе — неволе — стихии — судьбе и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески постыдная и поэтически бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем народу я любезен,  
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
 Что прелестью живой стихов я был  
 полезен... —

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением пользы в поэзию — подмена, позорившая Жуковского и Николая 1-го без малого век и име-

## МОЙ ПУШКИН

ющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1884 года — установки памятника, — наконец заменена словами пушкинского памятника:

И долго буду тем любезен я народу,  
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
 Что в мой жестокий век восславил я  
 свободу

И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава бóльшая — безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин — Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша — ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище — в слове:

А там, в полях необозримых,  
 Служа небесному царю —  
 Чугунный правнук Ибрагимов  
 Зажег зарю.



А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит — либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендромом, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо:

- Муся! Ты видела этого господина?
- Да.

— Так это — сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно — гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг — пройдет. Прошел он — и именно вдруг, — но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди — звезда.

— Ну, Муся, видела сына Пушкина?

— Видела.

— Ну, какой же он?

— У него на груди звезда.

— Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...

— Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, — няниному: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.



— Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина.

— Что, барышня?

— У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала.

— Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли...— неопределенно отозвался Ваня.

— Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину,— вмешалась няня.— Небось сами — полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?

— Знаю.

— Ну, сынок их, значит. Уже в годах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство.

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки, и от родительского приказа смотреть и помнить,— связанного у меня только с предметами — белый медведь в Пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский, и т. д.— а никак не с человеками, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, который мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам — так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина — тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце ве-

ка, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.

Так и у меня был свой Командор.



А шел, верней ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая может быть на него — не зная, не узнавая, не подозревая — в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой — узнала это только в Париже, в 1928 году — оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.



Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был — тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод — том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось — «Собрание сочинений А. С. Пушкина».

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков — другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф — обманный, зеркальный, в две створки, в каждой — я, а если удачно поместиться — носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один — неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.

Мой первый Пушкин — Цыганы. Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще — Старик. Я стариков знала только одного — сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у которого рука отсохла — потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А. Д. Мейн, — не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово — любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь. Я думала — у всех так, всегда так. Оказывается — только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена — в Цыган: в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом: взрослым — потому что краденое, детям — потому что я их презираю, а главное — потому что тайна: моя — с красной комнатой, моя — с синим томом, моя — с грудной ямкой.

Но, в конце концов, любить и не говорить — ра-

зорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух — в лице Асиной няньки, Александры Мухиной, и ее приятельницы — швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася — спала.

— А у нас Мусенька — умница, грамотная, — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. — А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того барабанщика.

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пять лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот, однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

— Я могу рассказать про Цыган.

— Цы-ган? — нянька, недоверчиво, — про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребущие?

— Это не такие. Это — другие. Это — табор.

— Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит — молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоём талане...», — а старая чертовка — белье с веревки, али уж прямо — бриллиантовую брошь с барынина туалета...

— Не такие цыгане. Это — другие цыгане.

— Ну, пушай, пушай расскажет! — приятельница, чуя в моем голосе слезы, — может, и вправду другие какие... Пушай расскажет, а мы — слушаем.

— Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик и у него была дочь. Нет, я лучше стихами

скажу. Цыганы шумною толпой — По Бессарабии кочуют — Они сегодня над рекой — В шатрах изодранных ночуют — Как вольность весел их ночлег — и так далее — без передышки и без серединных запятых — до: звон походной наковальни, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто — принимаю.

— А складно говорит! как по писаному! — восклицает швея, тайно меня любящая, но не смеющая, потому что нянька — Асина.

— Мед-ве-едь... — осуждающе произносит нянька, повторяя единственно дошедшее до ее сознания слово. — А вправду — медведь. Маленькая была, старики рассказывали — завсегда цыгане медведя водили. «А ты, Миша, попляши!» И плясал-ал.

— Ну, а дальше-то, дальше-то что было? (швея).

— И вот, к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алэко.

Нянька:

— Ка-ак?

— Алэко!

— Ну уж и зовут! И имени такого нет. Как, говоришь, зовут?

— Алэко.

— Ну и Алека — калека!

— А ты — дура. Не Алека, а Алэко!

— Я и говорю: Алека.

— Это ты говоришь: Алека, я говорю: Алэко: э-э-э! о-о-о!!

— Ну, ладно: Алека — так Алека.

— Алеша, значит, по-нашему (приятельница, примиряюще). Да дай ей, дура, сказать, — она ведь

## МОЙ ПУШКИН

сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку, она дура, неученая, а ты грамотная, тебе и знать.

— Ну, эту дочь звали Земфира. (Грозно и громко.) Земфира — эта дочь — говорит старику, что Алеко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне:

Его в пустыне я нашла  
И в табор на ночь зазвала.

А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге: «В одной телеге мы поедем — та-та-та-та, та-та-та-та — И села обходить с медведем»...

— С медве-едем, — нянька, эхом.

— И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах...

— Как это — в корзинах?..

— Так: «Ослы в перекидных корзинах — Детей играющих несут — Мужья и братья жены девы — И стар и млад вослед идут — Крик шум цыганские припевы — Медведя рев его цепей».

Нянька:

— Да уж будет про медведя! Со стариком-то — что?

— Со стариком — ничего, у него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и эта тоже, Земфира, — ушла. Сначала все пела: — Старый муж, грозный муж! Не боюсь я тебя! — это она про него, про отца своего, пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже ушел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла.

Обе в голос:

— Ай-а-ай! Ну и душегуб! Так и зарезал ножом? А старик-то — что?

— Старик — ничего, старик сказал: «Оставь нас, гордый человек!» — и уехал, и все уехали, и весь табор уехал, а Алеко один остался.

Обе, в голос:

— Так ему и надо. Не побивши — убивать! А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал, — да ты, Мусенька, не слушай, — (громким шепотом) застал с любовником. И его враз, и ее. Потом на каторгу пошел, Васильем звали. Да-а-а... Какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.



Пушкин меня заразил любовью. С л о в о м — любовь.

Ведь разное: вещь, которую никак не зовут — и вещь, которую так зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся — это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется — это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся — это любовь. Когда розово-газовых нафталиновых парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу — это любовь. То есть это — от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол — так же и там же жжет, как от Земфиры, и Алеко, и Мариулы, и Могилы.

А вот волк и ягненок — не любовь, хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно: — Поду-

май, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутит...— Но волк — тоже хороший!

Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он съел ягненка, а ягненка я любить — хотя и съеденного и белого — не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».



Сказав «волк», я назвала Вожатого. Назвав Вожатого — я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего — любить.

Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что Вожатый заведет нас далёко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех любимых собак, больше всех закаченных в подвал мячей и потерянных перочинных ножииков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был — главная тайна.

Больше Цыган, потому что он был — черней цыган, темней цыган.

И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил — Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил... Вожатый.



Под влиянием непрерывного воровского чтения естественно обогащался и словарь.

— Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренбергская или крестнина парижская?

— Парижская.

— Почему?

— Потому что у нее глаза страстные.

Мать, угрожающе:

— Что-о-о?

Я, спохватываясь:

— Я хотела сказать: страшные.

Мать, еще более угрожающе:

— То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно. Но поняла — неправильно.

Не глаза — страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами (и розовым газом, и нафталином, и словом «Париж», и делом — сундук, и недоступностью для меня куклы), приписала — глазам. Не я одна. Все поэты. (А потом стреляются — что кукла не страстная!) Все поэты — и Пушкин первый.

Немного позже — мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год — в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер — рождественский. Давали сцену «Русалки», потом Рогнеду — и:

Теперь мы в сад перелетим,  
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке — Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы — не любовь, что это — любовь: когда скамейка, на скамейке — она, потом приходит он, и все время говорит, а она не говорит ни слова.

— Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? — мать, по окончании.

— Татьяна и Онегин.

— Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не Рогнеда?

— Татьяна и Онегин.

— Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла! Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествуя:

— Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть-то лет! Но что же тебе там могло понравиться?

— Татьяна и Онегин.

— Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: — Татьяна и Онегин! Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что — сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

— Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? — с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами: — Потому что — любовь.)

— Она, наверное, уже седьмой сон видит! — подходящая Надежда Яковлевна Брюсова\*, наша лучшая и старшая ученица, — и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

— А это, Муся, что? — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ — улыбки благодарности. На обратном пути — тихом, позднем, санном — мать ругается: — Опозорила! Не поблагодарила за мандарин! Как дура — шести лет — влюбилась в Онегина!

Мать ошибалась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее — немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда — когда расставались. Никогда — когда садились, всегда — когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, любила она, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молча-

---

\* Сестра Валерия Брюсова.

ла, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес — она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула, и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на нелюбовь — обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его — так, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда — знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной — одиночной — всей на себя взятой — любви — прямо гений на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не страшась суда, — то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах — сделала.

И если я потом, когда уходили (всегда — уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

У кого из народов — такая любовная героиня: смелая — и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая — и любящая.

Ведь в отповеди Татьяны — ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее руках, чтобы отмстить и свести его с ума, все козыри — чтобы унижить, втоптать в землю той скамьи, сровнять с паркетом той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: — Я вас люблю, — к чему лукавить?

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать — к чему? А вот на это действительно нет ответа для Татьяны — внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда — в зачарованном кругу сада, — в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда — непонадобившаяся, сейчас — вождеденная, и тогда и ныне — любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она — не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь — первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них — и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желаний и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь — и дородясь.

Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А. Д. Мейн, поставил ее между лю-

## МОЙ ПУШКИН

бимым и собой, она выбрала — отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо «для бедной Тани все были жребии равны» — а моя мать выбрала самый тяжелый жребий — вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, — на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить — того, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т. д., ответила: — Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива... (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я — не его дочь!)

Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны — не было бы меня.

Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала, — должно быть, все-таки — пожалела девочку...



С младенчества посейчас весь «Евгений Онегин» для меня сводится к трем сценам: той свечи — той скамьи — того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и может быть, не прочти я его до семи лет... но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть развороченная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркетные (как у нас в зале), и есть любовь (как у меня в грудной ямке).

Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века»). Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

●

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин — уже не краденый, а дарёный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, — обезвреженный, прирученный Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.

В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей — поэтической. Портрет в две дали — назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал.

Книжку я не любила, это был другой Пушкин, в нем и Цыганы были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной... Но помимо содержания, отвращало уже само название: для городских училищ, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно — лица учеников городских училищ — бедные лица: неокормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица — внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Гощие, синие и злобные. Два кулака. Поперек запавшего живота — с огромной желтой бляхой городских училищ, ремень.

## Моя Пушкин

Птичка божия не знает  
Ни заботы, ни труда,  
Хлопотливо не свивает  
Долговечного гнезда.

Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая птичища? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напева, что никому, кажется, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту птичку проверить — и меньше всего шестилетней тогдашней мне. Раз сказано так — так. В стихах — так. Эта птичка — поэтическая вольность. Интересно, что думают об этой птичке трезвые школьники Советской России?

«Зима, крестьянин, торжествуя» на второй странице городских училищ Пушкина я средне-любила, любила (раз стихи!), но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда не грозитя уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. «В тулупе, в красном кушаке» — это Андрюша, а «крестьянин, торжествуя» — это дворник, а дровни — это дрова, а мать — наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку к Памятник-Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, потому что мы во дворе никогда не играли — только им проходили — потому что вдруг у андреевских детей (семьи, снимавшей флигель) окажется скарлатина? И жучку в салазки не садили, а салазки — были, синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказанного, «Зима, крестьянин, торжествуя» под видом стихов были басни, которые под видом стихов — проза и которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала — последними. Сей-



час же скажу: «Зима, крестьянин, торжествуя» были — идиллия, т. е. та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения которой я так никогда и не поняла.

Чтобы кончить о синем, городских училищ, Пушкине: он для любви был слишком худ, — ни с трудом поднять, ни, тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно-швейцарскому и неизменно-тесному фартуку, — ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел.

Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю — еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь: — А длинная? — Нет, маленькая повесть. — Ну, тогда читать не буду.

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распирало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и «Ты опять не спишь?» — Николенькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России.

Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу, он читать не любил и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, я же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматия была — только любовь. Мать не отнимала: раз хрестоматия — ничего преждевременного. Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например:

Кто при звездах и при луне  
Так поздно слет на коне?

---

 МОЙ ПУШКИН
 

---

(Андрюша, на вопрос матери: — А я почему знаю?)

...Зачем он шапкой дорожит?  
 Затем, что в ней донос зашит.  
 Донос на Гетмана-злодея  
 Царю-Петру от Кочубея.

Не знаю, как другие дети: так как я из всего четверостишия понимала только злодея, и так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось — три: Гетман, Царь-Петр и Кочубей, и я долго потом не могла понять (и сейчас не совсем еще понимаю), что злодей — один, и кто именно. Гетман для меня по сей день — Кочубей и Царь-Петр, а Кочубей — по сей день Гетман, и т. д., и три стало одно, а это одно — злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы, не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю — возможности написать донос. Так и осталось: летит казак под несуществующе-ярким (сновиденным!) небом, где одновременно (никогда не бывает!) и звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною — точно чтобы его лучше видели! — а на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь донос — донос на Гетмана-злодея Царю-Петру от Кочубея.

Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была — злодейство. Больше скажу: когда я во время гражданской войны слышала «Гетман» (с добавлением: Скоропадский), я сразу видела того казака, который — падает.

Но с Царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча: «Кто он?» И опять мать Андрюше: — Ну, Андрюша, кто же был — он? И

опять Андрюша, честно, тоскливо и даже возмущенно: — А я почему знаю? (Что за странный мир — стихи, где взрослые спрашивают, а дети отвечают!) — Ну, а ты, Муся? Кто же был — он? — Великан. — Почему великан? — Потому что он сразу все починил. — А что значит «И на счастье Петрово»? — Не знаю. — Ну, что значит Петрово. (В голове ничего, кроме начертания слова: Петрово.) Ты не знаешь, что такое Петрово? — Нет. — А Андрюшино — знаешь? — Да. Андрюшин штекенпферд\*, Андрюшин велосипед. Андрюшины салазки... — Довольно, довольно. Ну, и Петрово — то же самое. Петрово — понимаешь? Счастье — понимаешь? (Молчу.) Счастья не понимаешь? — Понимаю. Счастье — это когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати... — Достаточно. На счастье Петрово — значит на Петрово счастье. А кто этот Петр? — Это... — Кто он? — Что? — То есть чудесный гость. «Смотрит долго в ту сторонку — Где чудесный гость исчез»... — А как этого чудесного гостя зовут? — Я, робко: — Может быть — Петр? — Ну, слава богу!.. (С внезапной подозрительностью.) Но Петров — много. Какой же это был Петр? — И, отчаявшись в ответе: — Это был тот самый Петр, который...

Донос на Гетмана-злодея  
Царю-Петру от Кочубея.

Поняла?

Еще бы! Но и увы! Только было начавший проясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-лунную, казачье-скачущую, шапочно-доносную ночь, и, что еще хуже, этот

\* Штекенпферд — игрушечная лошадка. — *Ред.*

## МОЯ ПУШКИН

Петр, который починил старику челн, значит как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем Кочубеем и Гетманом. И опять встал под гигантский — в новый месяц! — вопросительный знак: кто? Когда Петр — то всегда: кто? Петр — это когда никак нельзя догадаться.

Но и обратное: как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра.

Отчего пальба и клики  
В Петербурге-городке?

Ответ: — Понятно, Петр! Но что же он именно сделал, ибо раз подсказывают — не то, всё, что подсказывают, — не то. Особенно же и до смешного не то:

Родила ль Екатерина,  
Именинница ль она,  
Чудотворца-исполина  
Чернобровая жена?

«Родила» я не понимала, понимала только «родилась», ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай-Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах — есть. Ну, женатый чудотворец.

Но, боже, какое облегчение, когда после стольких «отчего» и стольких явно-ложных подсказок, наконец, блаженное «оттого!» «Оттого-то шум и клики — В Петербурге-городке».

Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: — Отчего пальба и клики? — Кто он? — Кто при звездах и при луне? — Черногорцы, что такое? и т. д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не

## МОЙ ПУШКИН

знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это — нарочно, что он не спрашивает, а знает, и, чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказке не веря, я каждую, невольно, видела, — строка за строкой, как умела, по-своему, стихи — видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями.

Но не могу, от своего тогдашнего и своего теперешнего лица, не сказать, что вопрос, в стихах — прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое отчего требует и сулит оттого и этим ослабляет самоценность всего процесса, все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике.

Зато в «Утопленнике» — ни одного вопроса. Зато — сюрпризы. Во-первых, эти дети, то есть мы играем одни на реке, во-вторых, мы противно зовем отца: тятя, а в-третьих, — мы не боимся мертвеца. Потому что кричат они не страшно, а весело, вот так, даже подпевают: «Тятя! Тятя! Наши сети! Притащили! Мертвеца! — Врите, врите, бесенята, — заворчал на них отец. — Ох, уж эти мне ребята! Будет вам, ужо, мертвец!» Этот ужо-мертвец был, конечно, немножко уж, уж, которого, потому что стихи, зовут ужо. Я говорю: немножко — уж, уж, которого я никогда не додумывала и, из-за его не совсем-определенности, особенно громко выкрикивала, произнося так: — Будет вам! Ужо-мертвец! Если

---

 МОЯ ПУШКИН
 

---

бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая: в земле живут ужи — и мертвецы, а этого мертвеца зовут Ужо, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал.

Ужей я знала по Тарусе, по Тарусе и утопленников. Осенью мы долго, долго, до ранних черных вечеров и поздних темных утр, заживались в Тарусе, на своей одинокой — в двух верстах от всякого жилья — даче, в единственном соседстве (нам — минуту сбегать, тем — минуту взойти) реки — Оки — «Рыбы мало ли в реке!» — но не только рыбы, потому что летом всегда кто-нибудь тонул, чаще мальчишки — опять затянуло под плот, — но часто и пьяные, а часто и трезвые, — и однажды затонул целый плотогон, а тут еще дедушка Александр Данилович умер, и мать с отцом уехали на сороковой день, и потом остались из-за завещания, и хотя я знала, что это грех — потому что дедушка любил меня больше Аси, и глупость — потому что дедушка совсем не утонул, а умер от рака... — от рака? но ведь:

И в распухнувшее тело  
Раки черные впились!

...словом, сквозь стеклянную дверь столовой — приденские столбы балкона, а под ними, со всей рекой, притащившейся по пятам:

Уж с утра погода злится,  
Ночью буря настает,  
И утопленник стучится  
Под окном и у ворот...

— Ужо-мертвец с неопределенным двоящимся лицом дедушки Александра Даниловича и затонувшего плотогона.

Зато другие страшные стихи «Вурдалак» были

совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки — своим потом и от страху бледностью — возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них (во мне) — страсти страха. «Это верно кости гложет красногубый вурдалак». Кто вообще гложет кости? Собака. Вурдалак — собака, с красными губами. Черная (потому что — ночь) собака с красными губами. А дурак (бедняк) испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище-вурдалак сразу оказывается той собакой, которая у Пушкина оказывается только в последней строке, т. е. ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только слово вурдалак, т. е. название стихотворения. Конечно, слово вурдалак — неприятное (немножко лакающее), и та самая собака — не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак, и красные губы ее, видимые даже ночью, сомнительны, и занятие ее — приносить свою кость именно на могилу, — несколько гадостное, но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Вот если бы Ваня шел через кладбище без всякой собаки — тогда было бы страшно. А так собака, наоборот, оживляет. (То же, что в «Вии», где страшно только одиночество Хомы с покойницей и где страх — явлением Вия, а потом и виев — разряжется. Когда много — всегда весело.)

Ну, странная подозрительная собака, а Ваня — явный бессомнительный дурак — и бедняк — и трус. И еще — злой: «Вы представьте Вани злости!» И — представляем: то есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом. Потому что — злой... Ибо для правильного

ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака — действие этим соседством предудказано.

И кончалось, как всегда, со всем любимым, — слезами: такая хорошая серо-коричневая, немножко черная собака с немножко красными губами украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла, и вдруг какой-то трус Ваня шел мимо и дал ей сапогом. В ее чудную мокрую морду. У-у-у...

Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были — «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи — Невидимкою луна...»

Все страшно — с самого начала: луны не видно, а она — есть, луна-невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарохающимся конем и — о, сладкое обмирание! — ими! Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл, и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, в каждом ты — летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною, — той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним — Бесов, и над Пушкиным и Бесами — сама летит.

Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было — меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в Бесах и к бесам! Собаку я жалела — утробно: пизкой и жаркой сочувственной жалостью чрева, жа-



## МОЯ ПУШКИН

лостью — защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть, и самого Ваню на съедение. Бесов же — жалостью высокой, жалостью — восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что «домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» — только так, что никого они не похорони и не выдай замуж — все равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают — чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что, — а потому, что они — они и никогда другими не будут и быть не могут. (Шепотом: потому что бог их проклял!) Любовь к проклятому.

И еще: я ведь знала, что они — тучи! Что они — серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, и м и — можно только мчаться! Что это воздух, который воеет! Что их — нет.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» — опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны... туманы...) «На печальные поляны льет печальный свет она...» О, господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано — печалью, точно Пушкин этим повторением «печаль» луною как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика», то сразу попадала в:

Вы, очи, очи голубые,  
Зачем сгубили молодца?  
О люди, люди, люди злые,  
Зачем разрознили сердца?

И эти очи голубые — опять были луною, точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы-души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи, очи голубые» — не Пушкин, а песня, а может быть, и романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где всё — еще всё, этого не знаю, потому что «разрывая сердце мне» и «сердечная тоска», молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь — одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. Вошли в состав.

«Подруга дней моих суровых — Голубка дряхлая моя!» — как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и рокочущий, сизо-голубой и голубиный двор. (Моя няня была бы — голубка, а Асина — Мухина.)

Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать (А не думаешь ли, голубка? — А не полагаешь ли, голубка? — А бог с ними, голубка!) — кроме как «голубка» не называл никак, но подруга было новое, мы с Асей росли одиноко, и подруг у нас не было. Слово «подруга» — самое любовное из всех — впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых — Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка — значит

## МОЯ ПУШКИН

очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта — голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. Скажу: подруга, скажу: голубка — и заболит.

Кого я жалела? — Не няню. Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом, все-таки, няня сидит, вяжет, мы ее видим, а он — что? А он — где? «Одна в глуши лесов сосновых — Давно, давно ты ждешь меня». Она — одна, а его совсем нет! Леса сосновые я тоже знала, у нас в Тарусе, если идти пачёвской ивовой долиной — которую мать называла Шотландией — к Оке, вдруг — целый красный остров: сосны! С шумом, с треском, с краской, с запахом. после ивового однообразия и волнообразия — целый пожар!

Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом, я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. «Ты под окном своей светлицы»... — у нее очень светлое окно, она его все время протирает (как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа) — чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не едет. Не придет никогда.

Но любимое во всем стихотворении было «Горюешь будто на часах», причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела... Соответствующих часовых видений — множество. Сидит няня и горюет, а над ней — часы. Либо горюет и вяжет и все время смотрит на часы. Либо — так горюет, что даже часы

остановились. На часах было и под часами, и на часы,— дети к падежам нетребовательны. Некая же все же смутность этого на часах открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения: есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларем — лунные, и есть в материнской спальне кукушка, с домиком,— с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая... А няня ведь с первой строки — голубка...

Так, на часах было и под часами, и на часы, и, в конце концов, немножко и в часах, и все эти часы еще подтверждались последующей строкою, а именно — спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое «К няне».

Составитель хрестоматии, очевидно, усумнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечасности. Конечно, я, кроме своей тоски, из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но — запомнила. И — запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами — секундная заминка, точно это пушкинский конец к тому хрестоматическому — приращён. Да, что знаешь в детстве — знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве — не знаешь на всю жизнь.

Из знакомого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была не женщина. Из «К няне» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину — потому что родная — можно любить больше, чем молодую — потому что молодая и даже потому что — лю-

бимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной.

Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения — Марселя Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности.



Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до-семилетней и семилетней были — ряд загадочных картинок, — загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала — я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто — видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными.

Делибаш. «Перестрелка за холмами — Смотрит лагерь их и наш — На холме пред казаками — Вьется красный делибаш». Делибаш — бес. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются — казак с бесом. Каково же было мое изумление и огорчение, когда в Праге, в 1924 году, сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего, услышала, что делибаш — черкесское знамя, а вовсе не сам черкес (бес). — Помилуйте, ведь у Пушкина «Вьется красный делибаш»! Как же черкес может виться? Знамя — вьется! — Отлично может виться. Весь черкес со своей одеждой. — Ну, уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениаль-

## МОИ ПУШКИН

ность. Что может виться? Знамя.— Я всегда понимала «Делибаш уже на пике, а казак без головы» — что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось.— Чистейшая поэтическая фантазия! Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся! «Делибаш уже на пике» значит — знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен.— Ну, так мне что-то обидно: почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как знамя может быть на пике? Мне по-моему больше нравилось.— Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал...

Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш — знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения — выдумала; и вдруг — в 1936 г.— сейчас вот — глазами стихи перечла, и — о радость!

Эй, казак, не рвися к бою!  
Делибаш на всем скаку  
Срежет саблею кривою  
С плеч удалю башку!

Это знамя-то срежет саблею кривою казаку с плеч башку??

Так бедный семилетний варвар правильнее понял умнейшего мужа России, нежели в четырежды его старшие воспитанники Пражского университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Что такое? — Бонапарте спросил» — с двумя неизвестными, по одному на каждую строку: черногорцами и Бонапарте, черногорцами, усугубленно неизвестными — своей неизвестностью второму неизвестному — Бонапарте.

«А Бонапарте — что такое?» — нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя одну с ней на-

шу для меня злосчастную прогулку «на пеньки»: мою первую и единственную за все детство попытку вопроса: — Мама, что такое Наполеон? — Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон? — Нет, мне никто не сказал. — Да ведь это же — в воздухе носится!

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей опозоренности: я не знала того, что в воздухе носится! Причем «в воздухе носится», я, конечно, не поняла, а увидела: что-то, что называется Наполеоном и что в воздухе носится, что очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими «Воздушным кораблем» и «Ночным смотром».

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми — представляла, Пушкиными — представляла, и горы, на которых живет это племя злое, — совершенно черными: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы — по крохотному злому черному черногорчику (просто — чертику). А Бонапарте, наверное, красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте — тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подзревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить — забыла.)

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин.



— Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! — это длинный, быстрый, с немножко волчьей — быстрой и смущенной — улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. — У мамы сейчас был доктор Ярхо — и сказал, что у нее чахот-

ка — и теперь она умрет — и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я — я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

— Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедem к морю. Вы рады, что мы едем к морю?

— Нет! — уже всхлипывала Ася, — потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться...

— Врет! врет! врет!

— ...вся в белом. Правда, Муся, он говорил?

— Правда, Муся, что я не говорил? Что это она сказала?

— Во всяком случае, кто бы ни сказал, — а сказал, конечно, ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, — сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а наоборот — мы все поедem к морю.

К морю.

Все предшествовавшее лето 1902 г. я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на пеньки, чтобы море было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь потом — от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлого предсмертного дедушкиного карльсбадского добереженного до неносимости и невыносимости платья, — обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикэя,



## МОИ ПУШКИН

переписываю черным отвесным круглым крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку — К М о р ю. Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка — десть писчей бумаги, сложенной ввосьмеро, где нужно разрезанной и прошитой посередине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается — вроде меня в моих пикэях и шевиотах, — как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булжник — с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето — которая? Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы — и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом — гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десть — и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которой с новым усердием: — Прощай, свободная стихия!

Стихия, конечно — стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» — предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

В о т щ е р в а л а с ь д у ш а м о я !

---

 МОЯ ПУШКИН
 

---

Вотще — это туда. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами — Ока, еще в La Chaux de Fonds, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Gue, bon gué! Il a frappé dix heures!»\* — и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму, вотще — это в чужую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и другим именем — может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.

Ты ждал, ты звал. Я был окован.  
 Вотще рвалась душа моя!  
 Могучей страстью очарован,  
 У берегов остался я.

Вотще — это туда, а могучей страстью — к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания т у д а Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет — что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с моими детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда вотще, туда, то, там начинает называться именем, из всей синева тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в детстве и с пенсне, и с усами... И как мы люто ошибаемся, называя это — тем, и как не ошибались — тогда!)

---

\* Стража не спит... пробило десять (франц.).— Ред.

---

 МОЯ ПУШКИН
 

---

Но вот имя — без отчества, имя, к которому на могильной плите последние, верные, с непогрешимым чутьем малых сих отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) — и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы...  
 Там погружались в хладный сон  
 Воспоминанья величавы:  
 Там угасал Наполеон...

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?»

Наполеон — тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало — чтобы полюбить на всю жизнь?

...И вслед за ним, как бури шум,  
 Другой от нас умчался гений,  
 Другой властитель наших дум.

Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.

Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть — море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится гений. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море...» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду...» — ведь он же это море — обещает, как я — моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что — забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду — Твой гул в вечерние часы...» (Не забуду — буду.)

В леса, в пустыни молчаливы  
 Перенесу, тобою полн,  
 Твои скалы, твои заливы,  
 И блеск, и тень, и говор волн.

## МОЯ ПУШКИН

И вот — видение: Пушкин, переносящий, проносащий над головой все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое — точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе — все море — в пустыню и там прольет его — и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы  
Перенесу, тобою полн,  
Твои скалы, твои заливы,  
И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила волн, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.



Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 г. мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю, — она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит К Морю, т. е. дает обещание, которое не может сдержать.

С этой минуты я ехала К Морю, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома — упорное — сомнамбулическое — и диктаторское и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что мечта

и один — одно, что мечта — уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество — драконов ее закон и единственное поле действия, — пока с этим смиришься — жизнь должна пройти, а я была очень маленькая девочка.

— Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

— Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

— Ася! Я тебе дам то, Сергей Семеныча, яичко.

— Ты его треснула.

— Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

— Тогда давай. Только очень скоро давай — помечтаем, потому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли — и дачи — и глицинии — в скалу Деву и в скалу Монах, во все, что угодно, превращалось — кроме самого себя, и от моего моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме тоскливого неузнавания.

Чего же я от них — Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, — хотела?

Может быть — памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним — говора волн? Но нет — даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем к морю не было, были шумы — той розовой

австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения — того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное — звуки слов, и — самое главное — тоска: пушкинского призывания и прощания.

И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать — назвать — ничего.



Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали — мы. Вся — синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.

Черно-синие сосны — светло-синяя луна — черно-синие тучи — светло-синий столб от луны — и по бокам этого столба — такой уж черной синевы, что ничего не видно, — море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное — море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны, — лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: — Приезжайте скорее. Здесь чудесно.

Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец — со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила — как та же девуш-

ка с любимым — тайно, опасно, запретно, блаженно.

На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало — море. Мое море, совсем черное от черноты парты — и дела. Ибо украла я его — чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие — забыли. Чтобы я одна. Чтобы — мое.

Так, с глубоко и жарко-розовой австралийской раковиной у уха, с сине-черной открыткой у глаз, я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил день.



— Ася! Муся! Смотрите! Море!

— Где? Где?

— Да — вот!

«Вот» — частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу — плоская, серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той, на картине явления Христа народу.

Это — море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.

Но — мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив — всегда так. То море — завтра.

Но завтра и много, много завтра опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы — отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это — залив.

Словом, я все еще К Морю ехала, и чем ближе

подъезжала — тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам — утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море — все отступало, ибо, когда мы, наконец, после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Молан и Виктор-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe»\* — была ночь, и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».

Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами — ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет — и будут наши оба здесь.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами — все блаженство оттяжки.

О, как я в эту ночь к морю — ехала! (К кому потом так — когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь — через всю черноту ночи — ехало: ко мне одной — всем собой.

Море было здесь, и завтра я его увижу. Здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.

Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу — то оно совсем везде, нет места, где его

---

\* Русский пансион (франц.). — Ред.



нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.

Это был самый великий канун моей жизни.  
Море — здесь, и его — нет.



Утром, по дороге к морю, Валерия:

— Чувствуешь, как пахнет? Отсюда — пахнет!  
Еще бы не чувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но... в том-то и дело, что не узнаю: свободная стихия так не пахла, и синяя открытка так не пахла.

Настораживаюсь.



Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)

Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки. «Эта скала называется Лягушка, — торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. — Это — наша лягушка».

От меня до лягушки — немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).

— А это — грот, — поясняет Володя, глядя себе под ноги, — тоже наш грот, здесь все наше, — хочешь, полезем! Только ты провалишься!

Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну — чтобы мать не узнала.

Ася с Володей, сухие и уже презрительные, ле-

## МОЯ ПУШКИН

зут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка — еще вода, много, чем дальше, тем бледней, и что кончается она белой блестящей линейной чертою — того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая — и башмаки соленые.

Море голубое — и соленое.

И внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:

*Прощай, свободная стихия!*

Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом — нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется — какое желание? — ах, к морю! — но, значит, уже никакого желания нет? но все равно — даже и без желания! я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:

*Александр Сергеевич Пушкин*

—и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как тот гранит...



Моря я с той первой встречи никогда не любила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем

---

 МОЯ ПУШКИН
 

---

плескаться — точь-в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое к морю было — пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом и плеском и говором волн его души и естественно, что я в Средиземном море со скалой Лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди — не узнала.

В пушкинскую грудь — в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.

(А вернее всего — в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)

К морю было: море + любовь к нему Пушкина, море + поэт, нет! — поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно — Борис Пастернак:

Стихия свободной стихии  
С свободной стихией стиха,—

опустив или подразумев третью и единственную: лирическую.

Но К морю было еще и любовь моря к Пушкину: море — друг, море, зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин — забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает и вновь обещает. Море — взаимное, тот единственный случай взаимности, до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.

Такое море — мое море — море моего и пушкинского К морю могло быть только на листке бумаги — и внутри.

И еще одно: пушкинское море было — море прощания. Так — с морями и людьми — не встречаются.

Так — прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то́, что ощущал Пушкин — навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.

Мое море — пушкинской свободной стихии — было море последнего раза, последнего глаза.

Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» — или без всякого оттого — я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь — а на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием — с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила — белым по серому — шифером по шиферу, — и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И — больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась — прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются — никогда.

1937

## ПУШКИН И ПУГАЧЕВ



## I

Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим — физически-магические, — слова, которые до того, как сказали, — уже значат, слова — самознаки и самосмыслы, не нуждающиеся в разуме, а только в слухе, слова звериного, детского, сновиденного языка.

Возможно, что они в жизни у каждого — свои.

Таким словом в моей жизни было и осталось — Вожатый.

Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна, спросили: — Как называется та вещь, где Савельич, и поручик Гринев, и царица Екатерина Вторая? — я бы сразу ответила: — Вожатый. И сейчас вся «Капитанская дочка» для меня есть — то и называется — так. Странно, что я в детстве, да и в жизни, такая несообразительная, недогадливая, которую так легко можно было обмануть, здесь сразу догадалась, как только среди мутного кручения метели что-то зачернелось — сразу настояжилась, зная, зная, зная, что не «пень иль волк», а то самое.

И когда незнакомый предмет стал к нам подвигаться и через две минуты стал человеком — я уже знала, что это не «добрый человек», как назвал его ямщик, а лихой человек, страх-человек, тот человек.

Незнакомый предмет был — весьма знакомый предмет.

Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь.

Это было то, что ждет нас на каждом повороте дороги и коридора, из-за каждого куста леса и каждого угла улицы — чудо, в которое ребенок и поэт попадают как домой, то единственное «домой», нам данное и за которое мы отдаем — все родные дома!

И когда знаемый из всех русских и нерусских сказок и самой Märchen unseres Lebens и Wesens \* незнакомый предмет вдобавок еще оказался Вожатым, дело было сделано: душа была взята: отдана.

О, я сразу в Вожатого влюбилась, с той минуты сна, когда самозванный отец, то есть чернобородый мужик, оказавшийся на постели вместо гриневского отца, поглядел на меня веселыми глазами. И когда мужик, выхватив топор, стал махать им вправо и влево, я знала, что я, то есть Гринев, уцелеем, и если боялась, то именно как во сне, услаждаясь безнаказанностью страха, возможностью весь страх, безнаказанно, до самого дна, пройти. (Так во сне нарочно замедляешь шаг, дразня убийцу, зная, что в последнюю секунду — полетишь.) И когда страшный мужик ласково стал меня кликать, говоря: — Не бойсь! Подойди под мое благословение! — я уже под этим благословением — стояла, изо всех своих

\* Сказки нашей жизни и бытия (нем.). — *Ред.*

немалых детских сил под него Гринева—толкала:— Да иди же, иди, иди! Люби! Люби! — и готова была горько плакать, что Гринев не понимает (Гринев вообще не из понимающих) — что мужик его любит, всех рубит, а его любит, как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу, а ты бы этой лапы — не принял.

А Вожатого — поговорки! Круглая как горох самокатная окольная речь наливного яблочка по серебряному блюдечку — только покрупнее! Поговорки, в которых я ничего не понимала и понять не пыталась, кроме того, что он говорит — о другом: самом важном. Это была первая в моей жизни индифферентная речь (и последняя, мне сужденная!) — о том самом — другими словами, этими словами — о другом, та речь, о которой я, двадцать лет спустя:

Поэт — издали заводит речь.

Поэта — далеко заводит речь...

— как далеко завела — Вожатого.

Нужно сказать, что даже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет — и как все будет, я неизменно непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринев — Вожатому — вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, боже, какое облегчение, когда тулуп наконец вот уже который раз треснул на Вожатовых плечах!

(Есть книги настолько живые, что все боишься, что, пока не читал, она уже изменилась, как река — сменилась, пока жил — тоже жила, как река — шла и ушла. Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту же книгу?)

...Потом, как известно, Вожатый пропадает — так подземная река уходит под землю. А с ним пропал и мой интерес. Читала я честно, ни строки не пропуская, но глазами читала, на мысленный глаз прикидывая, сколько мне еще осталось печатных верст пройти — без Вожатого (как — в том же детстве, на больших прогулках — без воды) — в совершенно для меня ненужном обществе Коменданта, Василисы Егоровны, Швабрина, и не только не нужном, а презренном — Марьи Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она «чрезвычайно бледна».

Странно, что даже дуэль меня не мирила с отсутствием Вожатого, что даже любовное объяснение Гринева с Машей ни на секунду не затмевало во мне черной бороды и черных глаз. В их любви я не участвовала, вся моя любовь была — к тому, и весь их роман сводился к моему негодованию: — Как может Гринева любить Марию Ивановну, а Мария Ивановна — Гринева, когда есть — Пугачев?

И суровое письмо отца Гринева, запрещающее сыну жениться, не только меня не огорчало, но радовало: вот теперь уедет от нее и опять по дороге встретит — Вожатого и уж никогда с ним не расстанется и (хотя я знала продолжение и конец) умрет с ним на лобном месте. А Маша выйдет за Швабрина — и так ей и надо.

В моей «Капитанской дочке» не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю: «Капитанская дочка», а думаю: «Пугачев».

Вся «Капитанская дочка» для меня сводилась и



сводится к очным встречам Гринева с Пугачевым: в метель с Вожатым (потом пропадающим) — во сне с мужиком — с Самозванцем на крыльце комендантского дома — но тут — остановка:

«Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку».

Подсказывала ли я и тут (как в том страшном сне) Гриневу поцеловать Пугачеву руку?

К чести своей скажу — нет. Ибо Пугачев, я это понимала, в ту минуту был — власть, нет, больше — насилие, нет, больше — жизнь и смерть, и так поцеловать руку я при всей своей любви не смогла бы. Из-за всей своей любви. Именно любовь к нему приказывала мне в его силе и славе и зверстве руки не целовать — оставить поцелуй для другой площади. Кроме того: раз все вокруг шепчут: целуй руку! целуй руку! — ясно, что я руки целовать не должна. Я такому круговому шепоту отродясь цену знала. Так что и Иван Кузьмич, и Иван Игнатьевич, и все мы, не присягнувшие и некоторые повисшие, оказались — правы.

Но — негодовала ли я на Пугачева, ненавидела ли я его за их казни? Нет. Нет, потому что он должен был их казнить — потому что был волк и вор. Нет, потому что он их казнил, а Гринева, не поцеловавшего руки, помиловал, а помиловал — за заячий тулуп. То есть — долг платежом красен. Благодарность. Благодарность злодея. (Что Пугачев — злодей, я не сомневалась ни секунды и знала уже, когда он был еще только незнакомый черный предмет.) Об этом, а не ином, сказано в Евангелии: в небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, нежели о десяти несогрешивших правед-

никах. Одно из самых соблазнительных, самых роковых для добра слов из Христовых уст.

Но есть еще одно. Пришедши к Пугачеву непосредственно из сказок Гримма, Полевого, Перро, я, как всякий ребенок, к зверствам — привыкла. Разве дети ненавидят Людоеда за то, что хотел отсечь мальчишкам головы? Нет, они его только боятся. Разве дети ненавидят Верлиоку? Змея-Горыныча? Бабу-Ягу, с ее живым тыном из мертвых голов? Все это — чистая стихия страха, без которой сказка не сказка и услада не услада. Для ребенка, в сказке, должно быть зло. Таким необходимым сказочным злом и являются в детстве (и в недетстве) злодейства Пугачева.

Ненавидит ребенок только измену, предательство, нарушенное обещание, разбитый договор. Ибо ребенок, как никто, верен слову и верит в слово. Обещал, а не сделал, целовал, а предал. За что же мне было ненавидеть моего Вожатого? Пугачев никому не обещал быть хорошим, наоборот — не обещав, обратное обещав, хорошим — оказался. Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось — добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра.

«Вожатый» во мне рифмовал с «жар». Пугачев — с «черт» и еще с чумаками, про которых я одновременно читала в сказках Полевого. Чумаки оказались бесами, их червонцы — горящими угольями, прожегшими свитку и, кажется, сжегшими и хату. Но зато у другого мужика, хорошего, в чугуне вместо кострового жару оказались червонцы. Все это — костровый жар, червонцы, кумач, чумак — сливалось в одно грозное слово: Пугач, в одно темное видение: Вожатый.

Но прежде чем перейти к последующим встречам Гринева с Пугачевым: — я в Пугачеве на крыльце комендантского дома с первого чтения Вожатого — узнала. Как мог не узнать его Гринева? И если действительно не узнал, как мне было не отнестись к нему с высокомерием? Как можно было — после того сна — те черные веселые глаза — забыть?



«Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и уставленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ними не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников».

Значит — были только свои, и в круг своих позвал Пугачев Гринева, своим его почувствовал. Желание пополнить в свои ряды? Расчет? Нет. Перебежчиков у него и так много было, и были среди них и поценнее ничем не замечательного дворянского сына Гринева. Значит — что? Влечение сердца. Черный, полюбивший беленького. Волк — нет ли такой сказки? — полюбивший ягненка. Этот полюбил ягненка — несъеденного, может быть, и за то, что его не съел, как мы, злодеи и не-злодеи, часто привязываемся за наше собственное добро к человеку. Благодарность за заячий тулуп уже была исчерпана — дарованием жизни. Это приглашение за стол уже было чистое влечение сердца, любовь во всей ее чистоте. Пугачев Гринева в свои ряды звал, потому что тот ему по сердцу пришелся, чтобы ввек не расставаться, чтобы («фельдмаршалом тебя поставлю») еще раз одарить: сначала — жизнь, по-

## ПУШКИН И ПУГАЧЕВ

том — власть. И нетерпеливая нестерпимая прямота его вопросов Гриневу и мрачное ожидание гриневского ответа («Пугачев мрачно молчал») вызваны не сомнением в содержании этого ответа, а именно его несомненностью: безнадежностью. Пугачев знал, что Гринева, под страхом смерти не поцеловавший ему руки, ему служить — не может. Знал еще, что если бы мог, он, Пугачев, его, Гринева, так бы не любил. Что именно за эту невозможность его так и любит. Здесь во всей полноте звучит бессмертное анненское слово: «Но люблю я одно — невозможно». (Мало у Пугачева было добрых молодцев, парней — ничуть не хуже Гринева. Нет, ему нужен был именно этот — чужой. Мечтанный. Невозможный. Н е м о ж н ы й.) Вся эта сцена — только последняя проверка — для последней очистки души — от надежды.

Будем внимательны к самому концу этого бессмертного диалога:

«— Послужи мне верой и правдой, и я тебя пожалую в фельдмаршалы и в Потемкины (князя). Как ты думаешь?»

— Нет,— отвечал я с твердостью.— Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра — так отпусти меня в Оренбург».

Значит — Гринева поверил. В полное бескорыстие Пугачева, в чистоту его сердечного влечения.

«Пугачев задумался.

— А коли отпущу,— сказал он,— так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»

Этот вопрос — его последняя ставка, последний сдаваемый им форт (сдал — всё).

«— Как могу тебе в этом обещаться?— отвечал

## МОЯ ПУШКИН

я.— Сам знаешь, не моя воля: велют идти против тебя — пойду, делать нечего...»

Что в этом ответе? Долг. Неволя, а не воля.

Эта сцена — поединок великодушный, соревнование в величии.

Очная ставка, внутри Пугачева, самовластья с собственным влечением сердца.

Очная ставка, внутри Гринева, влечения человеческого с долгом воинским.

Очная ставка Долга — и Бунта, Присяги — и Разбоя, и — гениальный контраст: в Пугачеве, разбойнике, одолевает человек, в Гринева, ребенке, одолевает воин.

Пугачев съел обиду, пересилив все, Гринева понял, и не только на волю, но изнутри своей волчьей любви — отпустил:

— Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь.

(Читай: что должен.)

Но — все уже отдав, последним оборотом любви:

— Завтра приходи со мной проститься.

Так любящие:

— В последний раз!

Все бессмертные диалоги Достоевского я отдам за простодушный незначительный гимназический хрестоматический диалог Пугачева с Гриневым, весь (как весь Пугачев и весь Пушкин) идущий под эпитафией:

Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю...

В «Пире во время Чумы» Пушкин нам это — сказал, в «Капитанской дочке» Пушкин нам это — сделал.

Гринев Пугачеву нужен ни для чего: для души. Так цыгане любят белых детей. Так русский царь любил арапа Ибрагима. Так Николай I не полюбил Пушкина.

Есть в этом диалоге жутко автобиографический элемент:

Пугачев — Гриневу:

— А коли отпущу, так обещаешься ли ты по крайней мере против меня не служить?

— Как могу тебе в этом обещаться?

Николай I — Пушкину:

— Где бы ты был 14-го декабря, если бы был в городе?

— На Сенатской площади, Ваше величество!

Та же интонация страстной и опасной правды: хождения бездны на краю. В ответах Гринева мы непрерывно слышим эту интонацию, если не всегда в кабинете монарха звучавшую, то всегда звучавшую — внутри Пушкина и уж во всяком случае — на полях его тетрадей.

Только Гриневу было тяжелее сказать и сделать: от Пугачева — отказаться. Гринев Пугачеву был благодарен — и было за что. Пугачевым Гринев с первой встречи очарован — и было чем. Ответ Гринева — долг: отказ от любимого.

Пушкин Николаю ничем не был обязан, и Пушкин в Николае ничем не был очарован: не было — чем. Ответ Пушкина Николаю — чистейший восторг: отместка нелюбимому.

И, продолжая параллель:

Самозванец — врага — за правду — отпустил.

Самодержец — поэта — за правду — приковал.



Пугачев Гриневу с первой минуты благодетель. Ибо если Пугачев в благодарность за заячий тулуп дарует ему жизнь и отпускает на волю, то сам-то гриневский тулуп — благодарность Пугачеву за то, что на дорогу вывел. Пугачев первый сделал Гриневу добро.

Вся встреча Гринева с Пугачевым между этими двумя жестами: сначала на дорогу вывел, а потом и на все четыре стороны отпустил.

— Вожатый!



Но помимо благодарности Гринева — Пугачеву, помимо пугачевской благодарности и благородства, Пугачев к Гриневу одержим отцовской любовью: любовью к невозможному для него сыну: верному долгу и роду — «беленькому». (Недаром, недаром тот первый вещий сон Гринева о подменном отце, сон, разом дающий и пугачевскую мечту об отцовстве всея России и пугачевскую мечту о Гринева — сыне.)

Любовь Пугачева к Гриневу — отблеск далекой любви Саула к Давиду, тоже при наличии кровного сына, любовь к сыну по избранию, сыну — души моей... Ибо после дарования жизни уже дары: простые, несчетные дары любви. Пугачев на дары Гриневу ненасытен: и фельдмаршалом тебя поставлю, и в Потемкины (князья) произведу, и посаженным отцом сяду, и овчинный тулуп со своего плеча — взамен того заячьего, и коня — и потерянную тем урядником полтину в дорогу дарит, и в дорожную кибитку с собой сажает, и даже дядьке Савельичу позволяет сесть на облучок (за что, скажем в скобках,

тот желает ему сто лет здравствовать и обещает век за него бога молить...)— и Марью Ивановну из темницы выручает, простив Гриневу его невинный любовный обман... Но здесь — остановка.

Когда уличенный во лжи Гринева признается, что Марья Ивановна не племянница попа, а дочь убитого Пугачевым коменданта: «—Ты мне этого не сказал,— заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось». Почему (омрачилось)? Да не потому, конечно, что Марья Ивановна дочь того, а не племянница другого, а потому, что Гринева ему солгал, себя, в его глазах, ложью уронил, и — главное, может быть, — ему, Пугачеву, не доверился. Но и это сходит — как сходило все и что не сошло бы! — и Пугачев просится к Гриневу в посаженные отцы. И — возобновляем перечень даров — рука дающего да не оскудеет: просится к Гриневу в посаженные отцы, и выдает ему пропуск во все заставы и крепости, ему подвластные, и, простившись с ним на людях, еще раз высовывается к нему из кибитки: — Прощай, ваше благородие! — и последний дар любви на последней странице повести:

«Из семейных преданий известно, что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу».

Больше ему подарить Гриневу было — нечего.



Что это все? Как все это называется? Любовь. Но, слава богу, на этот раз любовь была к недостойному. Ибо и дворянский сын Гринева Пугачева — любил. Любил — сначала дворянской благо-



дарностью, чувством, не менее сильным в дворянине, чем дворянская честь. Любил сначала благодаря, а потом уже вопреки: всей обратностью своего рождения, воспитания, среды, судьбы, дороги, планы, сути. С первой минуты сна, когда страшный мужик, нарубив полную избу тел, ласково стал его кликать: — Не бойсь, подойди под мое благословение, — сквозь все злодейства и самочинства, сквозь всё и несмотря на всё — любил.

Между Пугачевым и Гриневым — любовный разговор. Пугачев, на людях, постоянно Гриневу подмигивает: ты, мол, знаешь. И я, мол, знаю. Мы оба знаем. Что? В мире вещественном — бедное слово: тулуп, в мире существенном — другое бедное слово: любовь.

Вот его, Гринева, собственные, Пугачеву, слова на прощание:

«— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнью моей рад бы заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...»

Это — еще, пока, благодарность.

Но вот другое, Гринева, высказывание:

«Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту — сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и

спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце».

Благодарность? Нет. Так благодарность — не жжет.

И — третье:

«Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: — Емеля! Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся на картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать».

И слова Гринева о капитанской дочке Маше: «Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно, ничто не может нас разлучить» — куда более относятся к Пугачеву, отца этой капитанской дочки на его, Гринева, глазах вздернувшего на виселицу.

Но не только те чуждые обстоятельства, не только благодарность, не только влечение к своему обратному — все это еще не дает и не создает любви.

Есть одно слово, которое Пушкин за всю повесть ни разу не назвал и которое о д н о объясняет — все.

**Ч а р а.**

Пушкин Пугачевым зачарован. Ибо, конечно, Пушкин, а не Гринев, за тем застольным пиром был охвачен «пиитическим ужасом».

Да и пиитом-то Пушкин Гринева, вопреки всякой вероятности, сделал, чтобы теснее отождествить себя с ним. Не забудем: Гринев-то и в Оренбург попал за то и потому, что до семнадцатого годочку только и делал, что голубей гонял. Не забудем еще, что в доме его отца кроме «Придворного календаря» никаких книг не было. Пушкин, правда, упо-

минает, что Гринева стал брать у Швабрина французские книги, но от чтения французских книг до писания собственных русских стихов — далеко. Малый, которого мы видим в начале повести, *p'a ras la tête à ça* \*.

С явлением на сцену Пугачева на наших глазах совершается превращение Гринева в Пушкина: вытеснение образа дворянского недоросля образом самого Пушкина. Митрофан на наших глазах превращается в Пушкина. Но помимо разницы сущности, не забудем возраст Гринева: разве может так судить и действовать шестнадцатилетний, впервые ступивший из дому и еще вчера лизавший пенки рядовой дворянский недоросль? Так (как шестнадцатилетний Гринева в этой повести) навряд ли бы мог судить и действовать шестнадцатилетний Пушкин. Ибо есть вещь, которая и гению не дается отродясь (и, может быть, гению — меньше всего) — опыт. Шестнадцатилетний Гринева судит и действует, как тридцатилетний Пушкин. Дав вначале тип, Пушкин в молниеносной постепенности дает нам личность, исключение, себя. Можно без всякого преувеличения сказать: Пушкин начал с Митрофана и кончил — собою. Он так занят Пугачевым и собой, что даже забывает *post factum* постарить Гринева, и получается, что Гринева на два года моложе своей Маши, которой — восемнадцать лет! Между Гриневым — дома и Гриневым — на военном совете — три месяца времени, а на самом деле по крайней мере десять лет роста. Объяснить этот рост появлением в жизни Гринева этой самой Маши — наивность, любовь мужей обращает в детей,

\* Из другого теста (франц.). — Ред.

но никак уж не детей в мужей. Пушкинскому Гриневу еще до полного физического роста четыре года расти и вырастать из своих мундиров! Пушкин забыл, что Гринев — ребенок. Пушкин вообще забыл Гринева, помня только одно: Пугачева и свою к нему любовь.

Есть этому преображению Гринева в Пушкина любопытное подтверждение. В первом французском переводе «Капитанской дочери» к фразе старика Гринева:

«Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею совести» — переводчиком Луи Виардо сделана пометка: «Un aïeul de Pouchkine fut condamné à mort par Pierre Le Grand» \*.

Не я здесь создает автобиографичность, а сущность этого я. Не думал Пушкин, начиная повесть с условного, заемного я, что скоро это я станет действительно я, им, плотью его и кровью.

И, поняв, что Гринев — Пушкин: как Пушкину было не зачароваться Пугачевым, ему, сказавшему и возгласившему:

Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении Чумы!

Есть явление, все эти явления дающее разом. Оно называется — мятеж, в котором насчитываем еще и метель, и ледоход, и землетрясение, и пожар, и

\* «Один из предков Пушкина был приговорен к смерти Петром Великим» (франц.). — *Ред.*

столько еще, не перечисленного Пушкиным! и заключенное им в двоекратном:

Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья —  
Бессмертья, может быть, залог!  
И счастлив тот, кто средь волненья  
Их обрести и ведать мог.

Этого счастья Пушкину не было дано. Декабрьский бунт — бледнеет перед заревом Пугачева. Сенатская площадь — порядок и во имя порядка, тогда как Пушкин говорит о гибели ради гибели и ее блаженстве.

Встреча Гринева с Пугачевым — в метель, за столом, под виселицей, на лобном месте — мечтанная встреча самого Пушкина с Самозванцем.

Только — вопрос: устоял ли бы Пушкин, тем дворянским сыном будучи, как устоял дворянский сын Гринева, Пушкиным будучи, перед чарой Пугачева? Не сорвалось ли бы с его уст: — Да, государь. Твой, государь. — Ибо за дворянским сыном Гриневым — сплошной стеной — дворянские отцы Гриневы, за Пушкиным — та бездна, которой всякий поэт — на краю.

Пушкину на долю досталось три монарха: на младенчество — безумный Павел, на юность — двоeverный Александр, Пушкину на зрелый возраст достался царь-капрал. Пушкин всем отвращением от Николая I был отброшен к Пугачеву. «Капитанская дочка» — Николаю месть и даже отместка: самой природы поэта. Из всей истории писать именно историю пугачевского бунта. Николай I не оценил иронии... судьбы.

Вернемся — к чаре.

Эту чару я, шестилетний ребенок, наравне с шестнадцатилетним Гриневым, наравне с тридцатилетним Пушкиным,— здесь уместно сказать: любви все возрасты покорны,— сразу почувствовала, под нее целиком подпала, впала в нее, как в столбняк.

От Пугачева на Пушкина — следовательно, и на Гринева — следовательно, и на меня — шла могучая чара, слово, перекликающееся с бессмертным словом его бессмертной поэмы: «Могучей страстью очарован...»

Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя ее круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить — никакая благодарность не заставит. А чара — и не то заставит, заставит и полюбить того, кто на твоих глазах зарубил самую любимую девушку. Чара, как древле богинин облак любимца от глаз врагов, скроет от тебя все злодейства врага, все его вражество, оставляя только одно: твою к нему любовь.

В «Капитанской дочке» Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел.

Чара дана уже в первой встрече, до первой встречи, когда мы еще не знаем, что на дороге чернеет: «пень иль волк». Чара дана и пронесена сквозь встречи: с Вожатым, с Самозванцем на крыльце, с Самозванцем пирующим,— с Пугачевым, сказывающим сказку,— с Пугачевым карающим — с Пугачевым прощающим — с Пугачевым — в последний раз — кивающим — с первого взгляда до последнего, с плахи, кивка,— Гринев из-под чары не вышел, Пушкин из-под чары не вышел.

И, главное, (она дана) в его магической внешности, в которую сразу влюбился Пушкин.

Чара — в его черных глазах и черной бороде, чара в его усмешке, чара — в его опасной ласковости, чара — в его напускной важности...

— и умилительная деталь:

Пушкин Пугачева часто дает... немножко смешным: например, Пугачев, не умеющий разобрать писаной руки.

«Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи ничего не могут тут разобрать. Где мой обер-секретарь?» — смешным, но не смехотворным (так Диккенс в начале повести своего мистера Пикквика) — умилительным, детски-смешным ребенком, читающим письмо вверх ногами. У Пушкина Пугачев получается какой-то зверский ребенок, в себе неповинный, во зле — неповинный. Сравнить пушкинское отношение к низкому злодею Швабрину: ни одной человеческой слабости, ни одного смягчающего обстоятельства. Весь злодей из одного — черного — куса, вроде Жавера Виктора Гюго (кроме последнего жеста последнего.) Швабрин — злодей по пушкинскому замыслу, пушкинское настоящее обратное, его истый враг, т. е. его низкий враг. Пугачев же — злодей по пушкинской любви, враг по пушкинской любви, его, вопреки всему и всем, совсем не враг, его невраг, его друг и чуть ли не страсть.

Здесь ясна вся разница для поэта между врагом внешним и врагом внутренним. Швабрин — олицетворенная низость, — его внутренний враг, Пугачев — его враг исторический, фактический, его внеш-

---

**ПУШКИН И ПУГАЧЕВ**

ний враг, его вовсе не враг, его друг, которого по долгу службы нужно убить, но нельзя не любить.

Как аттический солдат,  
В своего врага влюбленный...

Сказано о солдате, но этого далекого солдата (Ахилла) создал — поэт.

Но есть еще одно, кроме чары, физической чары над Пушкиным — Пугачева: страсть всякого поэта к мятежу, к мятежу, олицетворенному одним. К мятежу одной головы с двумя глазами. К одноглавому, двуглазому мятежу. К одному против всех — и без всех. К преступившему.

Нет страсти к преступившему — не поэт. (Что эта страсть к преступившему при революционном строе оборачивается у поэта контр-революцией — естественно, раз сами мятежники оборачиваются — властью.)

В Пугачеве, как нигде, прорвалась у Пушкина эта страсть, и смешно было Николаю I ждать от такого историографа — добра.

Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья...

Это неизъяснимое наслажденье смертное, бессмертное, африканское, боярское, человеческое, божественное, бедное, уже обреченное сердце Пушкина обрело за год до того, как перестало биться в мечтанной встрече Гринева с Пугачевым. На самозванце Емельяне Пушкин отвел душу от самодержца Николая, не сумевшего его ни обнять, ни отпустить.



Страстный верноподданный, каким бы мог быть Пушкин, живой пищи не нашел, и пришлось ему, по сказке того же Пугачева, клевать мертвечину («Нет, я не льстец, когда царю...»), но — по той же сказке Пугачева — орлом будучи — мертвечина ему не пришлась, и пришлось ему — отказавшись от рецепта ворона — год спустя «Капитанской дочки» и пугачевской сказки — напоить российский снег с о е й кровью.

Соубийцу мы знаем.



Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам — как бы они ни назывались и ни одевались. Ко всякому предприятию — лишь бы было обречено.

Но и другим я обязана Пушкину — может быть, против его желания.

После «Капитанской дочки» я уже никогда не смогла полюбить Екатерину II. Больше скажу: я ее невзлюбила.

Контраст между чернотой Пугачева и ее белизной, его живостью и ее важностью, его веселой добротой и ее — снисходительной, его мужичеством и ее дамством не мог не отвратить от нее детского сердца, едино-любивого и уже приверженного «злодею».

Ни доброта ее, ни простота, ни полнота — ничто, ничто не помогло мне (в ту секунду Машей будучи), даже противно было сидеть с ней рядом на скамейке.

На огневом фоне Пугачева — пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров — эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и

листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой. (Основная черта Екатерины — удивительная пресность. Ни одного большого, ни одного своего слова после нее не осталось, кроме удачной надписи на памятнике Фальконета, то есть — подписи. Только фразы. Французских писем и посредственных комедий Екатерина II — человек — образец среднего человека.)

Сравним Пугачева и Екатерину въяве:

«— Выходи, красная девица, дарю тебе волю. Я государь». (Пугачев, выводящий Марью Ивановну из темницы.)

«— Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе...»

Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая себя за приживалку.

И какая иная ласковость! Пугачев в темницу входит — как солнце. Ласковость же Екатерины уже тогда казалась мне сладостью, слащавостью, медовостью, и этот еще более ласковый голос был просто льстив: фальшив. Я в ней узнала и возненавидела даму-патронессу.

И как только она в книге начиналась, мне становилось сосуще-скучно, меня от ее белизны, полноты и доброты физически мутило, как от холодных котлет или теплого судака под белым соусом, которого знаю, что съем, но — как? Книга для меня распадалась на две пары, на два брака: Пугачев и Гринев, Екатерина и Марья Ивановна. И лучше бы так женились!

Любит ли Пушкин в «Капитанской дочке» Екатерину? Не знаю. Он к ней почтителен. Он знал,

## МОЯ ПУШКИН

что все это: белизна, доброта, полнота — вещи почтенные. Вот и почтил.

Но любви-чары в образе Екатерины — нет. Вся любовь Пушкина ушла на Пугачева (Машу любит Гринев, а не Пушкин) — на Екатерину осталось только казенная почтительность.

Екатерина нужна, чтобы все «хорошо кончилось».

Но для меня и тогда и теперь вещь, вся, кончается — кивком Пугачева с плахи. Дальше уже — дела гриневские.

Дело Гринева — жить дальше с Машей и оставлять в Симбирской губернии счастливое потомство.

Мое дело — вечно смотреть на чернеющий в метели предмет.



Есть у Блока магическое слово: т а й н ы й ж а р. Слово, при первом чтении ожегшее меня узнаванием: себя до семи лет, всего до семи лет (дальше — не в счет, ибо жарче не стало). Слово — ключ к моей душе — и всей лирике:

Ты проклянешь в мученьях невозможных  
 Всю жизнь за то, что некого любить.  
 Но есть ответ в моих словах тревожных:  
 Их т а й н ы й ж а р тебе поможет жить.

Поможет жить. Нет! и есть — жить. Тайный жар и есть — жить.

И вот теперь, жизнь спустя, могу сказать: все, в чем был этот тайный жар, я любила, и ничего, в чем не было этого тайного жара, я не полюбила. (Тайный жар был и у капитана Скотта, последним, именно т а й н ы м жаром гревшего свои полярные дневники.)

Весь Пугачев — этот тайный жар. Этого тайного жара в контр-фигуре Пугачева — Екатерине — не было. Была — теплота.

Я сказала: контр-фигура. Любопытно, что все, решительно все фигуры «Капитанской дочери» — каждая в своем направлении — контр-фигуры Пугачева: добрый разбойник Пугачев — низкий злодей Швабрин; Пугачев, восставший на царицу, — комендант, за эту царицу умирающий; дикий волк Пугачев — преданный пес Савельич; огневой Пугачев и белорыбий немецкий генерал, — вплоть до физического контраста физически-очаровывающего нас Пугачева и его страшной оравы (рваные ноздри Хлопуши). Пугачев и Екатерина, наконец. И еще любопытнее, что пугачевская контр-фигура покрывает, подавляет, затмевает — все. Всех обращает в фигурантов.\*

Рассмотрим всех персонажей «Капитанской дочери». Отец и мать — как им быть полагается (бабушка, матушка...), слуга Савельич — как ему быть полагается, игрок Зурин, мелкий завистник и доносчик Швабрин, заводной немецкий генерал, — комендант Миронов, тип почти комический, если бы не пришлось ему на наших глазах с честью умереть... Маша — пустое место всякой первой любви, Екатерина — пустое место всякой авторской любви...

Ни одной крупной фигуры Пушкин Пугачеву не противопоставил (а мог бы: поручика Державина, чуть не погибшего от пугачевского дротика; Суворова, целую ночь стерегущего пленного Пугачева). В лучшем случае, другие — хорошие люди. Но ког-

\* статистов (от франц. слова *figurant*). — *Ред.*

да — кого в литературе спасала «хорошесть» и кто когда противостоял чаре силы и силе чары? (Себе в опровержение: однажды спасла и вознесла: отца Савелия, в «Соборянах». Себе же — в подтверждение: но это больше чем литература и больше чем хорошесть, и есть сила бóльшая чары — святость.)

В «Капитанской дочке» единственное действующее лицо — Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: ну, что-то будет? И что бы ни было: есть Пугачев — мы есьмы.

Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта — чаре, поэта — врагу, еще дань эпохе: Романтизму. У Гете — Гетц, у Шиллера — Карл Моор, у Пушкина — Пугачев. Да, да, эта самая классическая, кристальная, и, как вы ее еще называете, проза — чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только те своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времен лишая их последнего правдоподобия, либо (Лермонтов, Байрон) — в недрах лирического хаоса, — либо в себе, либо в нигде, Пушкин же своего героя взял и вне себя и из предшествующего ему поколения (Пугачев по возрасту Пушкину — отец), этим бесконечно себе задачу затрудняя. Но зато: и Карл Моор, и Гетц, и Лара, и Мцыри, и собственный пушкинский Алеко — идеи, в лучшем случае — видения, Пугачев — живой человек. Живой мужик. И этот живой мужик — самый неодолимый из всех романтических героев. Сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцом всех романтических: Дон-Кихотом.

Покой повествования и словесная сдержанность

## ПУШКИН И ПУГАЧЕВ

целый век продержали взрослого читателя в обмане: потому и семилетним детям давали, что думали — классическое. А классическое оказалось — магическое, и дети поняли, только дети одни и поняли, ибо нет ребенка, в Вожатого не влюбленного.

В «классиков» не влюбляются.



Ко всей «Капитанской дочке» ретроспективный эпиграф:

...Странные есть мужики —  
Вот он, с дорожной котомкой,  
Путь оглашает лесной  
Песнью протяжной, негромкой,  
И озорной, озорной...

...В славную нашу столицу  
Входит — господь упаси! —  
Обворожает царицу  
Необозримой Руси...

Пугачев царицы необозримой Руси не обворожил, а на нее в другую и славнейшую нашу столицу — пошел, в столицу не вошел, — и столицы разные — и царицы разные — но мужик все тот же. И чара та же... И так же поддался сто лет спустя этой чаре — поэт.



Все встречи Гринева с Пугачевым — ряд живых картин, нам в живое мясо души вожженных. Ряд живых картин, освещенных не магнием, а молнией! Не магнием, а магией. О, до чего эта классическая книга — магическая. До чего — гипнотическая (ибо весь Пугачев нам, вопреки нашему разуму и совести, Пушкиным — внушен: не хотим — а видим,

не хотим — а любим) — до чего сонная, сновиденная. Все встречи Гринева с Пугачевым — из все той же области его сна о губящем и любящем мужике. Сон — продленный и осуществленный. Оттого, может быть, мы так Пугачеву и предаемся, что это — сон, которому нельзя противиться, сон, то есть мы в полной неволе и на полной свободе сна. Комендант, Василиса Егоровна, Швабрин, Екатерина — все это белый день, и мы, читая, пребываем в здравом рассудке и твердой памяти. Но только на сцену Пугачев — кончено: черная ночь.

Ни героическому коменданту, ни его любящей Василисе Егоровне, ни гриневскому роману, никому и ничему в нас Пугачева не одолеть. Пушкин на нас Пугачева... навел, как наводят сон, горячку, чару...

На этом слове разбор Пугачева «Капитанской дочки» — кончим.

## II

Ибо есть другой Пугачев — Пугачев «Истории пугачевского бунта». Пугачев «Капитанской дочки» и Пугачев «Истории пугачевского бунта».

Казалось бы, одно — раз одной рукой писаны. Нет, не одной. Пугачева «Капитанской дочки» писал поэт, Пугачева «Истории пугачевского бунта» — прозаик. Потому и не получился один Пугачев.

Как Пугачевым «Капитанской дочки» нельзя не зачароваться — так от Пугачева пугачевского бунта нельзя не отвратиться.

Первый — сплошная благодарность и благородство, на фоне собственных зверств постоянная и непреходящая победа добра. Весь Пугачев «Капитан-

ской дочки» взят и дан в исключительном для Пугачева случае — добра, в исключительном — любви. Всех-де казнию, а тебя м и л ю ю. Причем это ты, по свойству человеческой природы и гениальности авторского внушения, непременно сам читатель. (Всех казнил, а меня помиловал, обобрал, а меня пожаловал, и т. д.) Пугачев нам — в лице Гринева — все простил. Поэтому мы ему — все прощаем.

Что у нас остается от «Капитанской дочки»? Его — пощада. Казни, грабежи, пожары? Точно Пугачев и черным-то дан только для того, чтобы лучше, чище дать его — белым.

Предположим — да так оно со всеми нами и было — что читатель «Капитанскую дочку» прочел — первой. Что он ждет от «Истории пугачевского бунта»? Такого же Пугачева, еще такого же Пугачева, то есть его доброты, широты, пощады, буйств — и своей любви.

А вот что он с первых страниц повествования и пугачевщины — получает.

«...Между тем за крепостью уже ставили виселицу, перед ней сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова (коменданта крепости.— М.Ц.), обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, выш и б е н н ы й\* копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить».

(Велел казнить и Миронова, но у того глаз не висел на щеке. Тошнотворность деталей.)

День спустя Пугачев взял очередную крепость Татищеву с комендантом Елагинным.

---

\* Сохраняю пушкинскую орфографию.



«С Елагина, человека тучного, содрали кожу: злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны».

(В «Капитанской дочке» ни с кого кожу не сдирали и ничьим салом своих ран не мазали. Ибо Пушкин знал, что от такого мазанья — на его героя — стошнило бы.) Дальше в строку:

«Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распорядившемуся казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее ее семилетнего брата».

Пощада — малая, и поступок — чисто злодейский, да и злодейство — житейское: завождеlev — помиловал, на свою потребу помиловал. И мгновенный рипост: и а ш Пугачев так бы не поступил, и а ш Пугачев, влюбившись, отпустил бы на все четыре стороны — руки не коснувшись.

...Именно не полюбив, а завождеlev, ибо вдову майора Веловского, которую не завождеlev, тут же велел удавить.

Но есть этому эпизоду с Харловой (по отцу Елагиной) и продолжение — и окончание.

Несколько страниц — не знаю, недель или месяцев — спустя, происходит следующее:

«Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе Самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ — похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харло-

## ПУШКИН И ПУГАЧЕВ

ва и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, долго оставались в том же положении».

Все чары в сторону. Мазать свои раны чужим салом, расстреливать семилетнего ребенка, который, истекая кровью, ползет к сестре — художественное произведение такого не терпит, оно такое извергает. Пушкин, художеством своим, был обречен на другого Пугачева.



Таков Пугачев в любви. Об этой Харловой Пушкин, пища «Капитанскую дочку», помнил, ибо (письмо Марьи Ивановны Гринева): «Он (Швабрин) обходится со мною очень жестоко и грозитя, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с Вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой...»

Что тоже, Пушкин в «Капитанской дочке» не уточняет, давая предполагать читателю только начало харловской судьбы. Оживлять те кусты ему здесь слишком невыгодно.

И непосредственно, строка в строку, до эпизода с Харловой:

«Пугачев в начале своего бунта взял к себе в пира сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки при взятии Татищевой удавили его и бросили с камнем на шее в воду. Пугачев о нем осведомился. Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Яику. Пугачев, молча, махнул рукой».

Таков Пугачев в дружбе: в человеческой любви.

Судьба этого Кармицкого — потенциальная судьба самого Гринева: вот что с Гриневым бы произошло, если бы он встретился с Пугачевым не на страницах «Капитанской дочки», а на страницах «Истории пугачевского бунта»\*.

Пугачев здесь встает моральным трусом — Лáше, из-за страха товарищей предающим — им в руки! — любимую женщину, невинного ребенка и любимого друга.

— Позвольте, что-то знакомое: товарищам — любимую... — А!

А вокруг уж слышен ропот:  
— Нас на бабу променял!  
Всю ночь с бабой провозжался,  
Сам наутро бабой встал.

...Мощным взмахом подымает  
Он красавицу-княжну...

Стенька Разин! тот, о котором и которого поет с нашего голоса вся Европа, тот, которым мы, как водою и бедою, залили всю Европу, да и не одну Европу, а и Африку, и Америку — ибо нет на земном шаре места, где бы его сейчас не пели или завтра бы не смогли запеть.

Но: Пугачев и Разин — какая разница!

Над Разиным товарищи — смеются, Разина бабой — дразнят, задевая его мужскую атаманову гордость. Пугачеву товарищи — грозят, задевая в нем простой страх за жизнь. И какие разные жесты! (Вся разница между поступком и проступком.)

---

\* Есть в «Истории пугачевского бунта» и Гринева, но там он подполковник и с Пугачевым не встречается.

## ПУШКИН И ПУГАЧЕВ

Мощным взмахом подымает  
Он красавицу-княжну...

Разин сам бросает любимую в Волгу, в дар реке — как самое любимое, подняв, значит — обняв; Пугачев свою любимую дает убить своей сволочи, чужими руками убивает: отводит руки. И дает замучить не только ее, но и ее невинного брата, к которому, не сомневаюсь, уже привык, которого уже немножко — усыновил.

В разинском случае — беда, в пугачевском — низость. В разинском случае — слабость воина перед мнением, выливающаяся в удаль, в пугачевском — низкое цепляние за жизнь.

К Разину у нас — за его Персияночку — жалость, к Пугачеву — за Харлову — содрогание и презрение. Нам в эту минуту жаль, что его четвертовали уже мертвым.

И — народ лучший судия — о Разине с его Персияночкой — поют, о Пугачеве с его Харловой — молчат.

Годность или негодность вещи для песни — может быть, единственное непогрешимое мерило ее уровня.



Но есть у Пугачева, кажется, еще подлейший поступок. Он велит тайно удавить одного из своих верных сообщников, Димитрия Лысова, с которым за несколько дней до того в пьяном виде повздорил и который ударил его копьем. «Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым несколько часов до его смерти».

С Харловой спал — и дал ее расстрелять, с Лысовым пил — и велел его удавить. Пугачев здесь

встает худшим из своих разбойников, хуже разбойника. И только так можно ответить на его гневный возглас, когда предавший его казак хотел скрутить ему назад руки: «Разве я разбойник?»

Иногда его явление из низости злодейства возвышается до диаболического:

«Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что это за человек. Услыша, что Ловиц наблюдает течение светил небесных, он велел его повесить — поближе к звездам».

И — последнее. «Перед судом он оказал неожиданную слабость духа. Принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора». — «De crainte qu'il ne mourût de peur sur-le-champ»\*, — поясняет Екатерина в письме к Вольтеру. Но так как это письмо Екатерины — единственный пушкинский источник, а Екатерина в низости казнимого ею мятежника явно была заинтересована, — оставим это сведение под сомнением: может — струсил, может — нет. Но что достоверно можно сказать — это, что не поражал своей предсмертной храбростью. На храбреца трусости не наврешь. Даже Екатерина — в письме к Вольтеру.

Но есть еще одна деталь этой казни — тяжелая. Пугачев, будучи раскольником, никогда не ходил в церковь, а в минуту казни — по свидетельству всего народа — глядя на соборы, часто крестился.

Не вынес духовного одиночества, отдал свою старую веру.

После любимой и друга отдал и веру.

---

\* Боясь, чтобы он внезапно не умер от страха (франц.). — Ред.

Будем справедливы: я все-таки выбирала (особенно и выбирать не пришлось) обратные, контрастные места с Пугачевым «Капитанской дочки». Пугачеву «Истории пугачевского бунта» Пушкин оставил — многое. Оставил его иносказательную сказочную речь, оставил неожиданные повороты нрава: например, наведенную на жителей пушку оборачивает и разряжает ее — в степь. Физическую смелость оставил:

«Пугачев ехал впереди своего войска. «Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют». — «Старый ты человек, — отвечал самозванец. — Разве пушки льются на царей?»»

Любовь к нему простого народа — оставил:

«Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его клетки: помните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжающих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен».

И огненный взор, и грозный голос оставил, от которых женщины, разглядывавшие его в клетке, падали без памяти.

И, как ни странно, и человечность оставил: академик Рычков, отец убитого Пугачевым симбирского коменданта, говоря о своем сыне, не мог удержаться от слез. Пугачев, глядя на него, сам заплакал.

Но все то же цепляние за жизнь оставил. Ибо в ответе Пугачева на вопрос Рычкова, как он мог отважиться на такие великие злодеяния: «Виноват перед богом и государыней, и буду стараться за-

служить все мои вины» — бессмысленная, заведомо безнадежная надежда на помилование, все то же пугачевское цепляние за жизнь.

Пугачев из «Истории пугачевского бунта» встает зверем, а не героем. Но даже и не природным зверем встает, ибо почти все его зверства — страх за жизнь, — а попустителем зверств, слабым до преступности человеком. (Ведь даже убийство Лысова — не месть за поднятую на него руку, а страх вторичного и уже смертного удара.)

И, чтобы окончательно кончить о нем: покончить с ним в наших сердцах — одна безобразная сцена, вдвойне безобразная, со всей полнотой подлости в лице обоих персонажей:

Граф Панин, к которому привели пленного Пугачева за дерзкий — прибауточный — провидческий ответ Пугачева: «Я вороненок, а ворон-то еще летает» — ударяет Пугачева по лицу в кровь и вырывает у него клоч бороды. (NB! Русское «лежащего не бьют».)

Что же делает Пугачев? Встает на колени и просит о помиловании.

Теперь — очная ставка дат: «Капитанская дочка» — 1836 г., «История пугачевского бунта» — 1834 г.

И наш первый изумленный вопрос: как Пушкин своего Пугачева написал — зная?

Было бы наоборот, то есть будь «Капитанская дочка» написана первой, было бы естественно: Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом — узнал. (Как всякий поэт в любви.) Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил.

Тот же корень, но другое слово: преобразил.

Пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: — Да, знаю, знаю, все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания — знать не хочу, этому не-своему, чужому знанию противопоставляю знание — свое. Я — лучше знаю. Я — лучшее знаю:

Тьмы низких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман.

Обман? «По сему, что поэт есть творитель, еще не наследует, что он лживец, ибо поэтическое мышление бывает по разуму так — как вещь могла и долженствовала быть» (Тредьяковский).

Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от них голову, как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева.

«Историю пугачевского бунта» он писал для других, «Капитанскую дочку» — для себя.



Пушкинский Пугачев есть поэтическая вольность, как сам поэт есть поэтическая вольность, на поэте отыгрывающаяся от навязчивых образов и навязанных образцов.



Но что же Пушкина заставило, только что Пугачева отписавши, к Пугачеву вернуться, взять в герои именно Пугачева, опять Пугачева, того Пугачева, о котором он все знал?

Именно что не все, ибо единственное значение



## МОЯ ПУШКИН

поэта о предмете поэту дается через поэзию, очистительную работу поэзии.

Пушкин своего Пугачева написал — чтобы узнать. Дознаться. Пушкин своего Пугачева написал — чтобы з а б ы т ь.

Простых же ответа — два: во-первых, он с ним, каков бы он ни был, за долгие месяцы работы — сжился. Сжился, но не разделался. (Есть об этом его, по написании, свидетельство.)

Во-вторых, он, поставив последнюю точку, почувал: не то. Не тот Пугачев. То, да не то. А попробуем — то. Это было «по-вашему», давай-ка теперь — по-нашему.

Подсознательное желание Пугачева, историей разоблаченного, поэзией реабилитировать, вернуть его на тот помост, с которого историей, пушкинской же рукою, снят. С нижеморского уровня исторической низости вернуть Пугачева на высокий пост предания.

Пушкин поступил, как народ: он правду — исправил, он правду о злодее — забыл, ту часть правды, несовместимую с любовью: м а л о с т ь.

И, всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую малость, дал нам другого Пугачева, своего Пугачева, народного Пугачева, которого мы м о ж е м любить: не можем не любить.

Какой же Пугачев — настоящий? Тот, что из страха отдал на растерзание любимую женщину и невинного младенца, на потопление — любимого друга, на удушение — вернейшего соратника, и сам, в ответ на кровавый удар по лицу, встал на колени?

Или тот, что дважды, трижды, семижды про-

стил Гринева и, узнав в толпе, в последний раз ему кивнул?

Что мы первое видим, когда говорим «Пугачев»? Глаза и зарево. И — оба без низости. Ибо и глаза и зарево — явление природы, «есть упоение в бою», а может быть, и сама Чума, но — стихия, не знающая страха.

Что мы первое и последнее чувствуем, когда говорим «Пугачев»? Его величие. Свою к нему любовь.

Так, силой поэзии, Пушкин самого малодушного из героев сделал образцом великодушия.

В «Капитанской дочке» Пушкин-историограф побит Пушкиным-поэтом.

Пушкин нам Пугачева пугачевского бунта — показал, Пугачева «Капитанской дочки» — внушил. И сколько бы мы ни изучали и ни перечитывали «Историю пугачевского бунта», как только в метельной мгле «Капитанской дочки» чернеется незнакомый предмет — мы все забываем, весь наш дурной опыт с Пугачевым и с историей, совершенно как в любви — весь наш дурной опыт с любовью.

Ибо чара — старше опыта. Ибо сказка — старше были. И в жизни земного шара старше, и в жизни человека — старше. Ибо Пугачева мы знали уже и в Мужик сам с Перст, и в Верлиоке, и в людоеде из Мальчика-с-пальчика, рубящем головы собственным дочерям, и в разбойнике, от которого Аленушка прячется за кадушку с маслом, во всех людоедах и разбойниках всех сказок, в сказке крови, нашей древней памяти.

Пушкинский Пугачев («Капитанской дочки») есть собирательный разбойник, людоед, чумаки, бес, «добрый молодец», серый волк всех сказок... и

снов, но разбойник, людоед, серый волк — кого-то полюбивший, всех загубивший, одного — полюбивший, и этот один, в лице Гринева — мы.

И если мы уже зачарованы Пугачевым из-за того, что он — Пугачев, т. е. живой страх, т. е. смертный страх, наш детский сонный смертный страх, то как же нам не зачароваться им вдвойне и вполне, когда этот страшный — еще и добрый, когда этот изверг — еще и любит.

В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром, всю свою самосилу (зла) перекинувшего на добро. Пушкин в своем Пугачеве дал нам неразрешимую загадку: злодеяния — и чистого сердца. Пушкин в Пугачеве дал нам доброго разбойника. И как же нам ему не поддаться, раз мы уже поддались — просто разбойнику?

Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Высшему, что есть: поэту в себе. Непогрешимому чутью поэта на пусть не бывшее, но могшее бы быть. Долженствовавшее бы быть. («По сему, что поэт есть творитель...»)

И сильна же вещь — поэзия, раз все знание всего николаевского архива, саморучное, самоочное знание и изыскание не смогли не только убить, но пригасить в поэте его яснозрения.

Больше скажу: чем больше Пушкин Пугачева знал, тем тверже знал — другое, чем яснее видел, тем яснее видел — другое.

Можно сказать, что «Капитанская дочка» в нем писалась одновременно с «Историей пугачевского бунта», с ним со-писалась, из каждой строки последнего вырастая, каждую перерастая, писалась над страницей, над ней — надстраивалась, сама,

## ПУШКИН И ПУГАЧЕВ

свободно и законно, как живое опровержение, здесь рукой поэта творящееся: не правде фактов самописалась.



«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Если Пушкин о Наполеоне, своем и всей мировой лирики боге, отвечая досужему резонеру, разубеждавшему его в том, что Наполеон в Яффе прикасалась к чумным\*, если Пушкин о Наполеоне мог сказать:

Тьмы низких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман

— то насколько это уместнее звучит о Пугачеве, достоверные низкие истины о котором он глазами вычитывал и своей рукой выписывал — ряд месяцев.

О Наполеоне Пушкин это сказал.

С Пугачевым он это сделал.

По окончании «Капитанской дочери» у нас о Пугачеве не осталось ни одной низкой истины, из всей тьмы низких истин — ни одной.

Чисто.

И эта чистота есть — поэт.



Тьмы низких истин...

Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины.

Еще одно. Истины не ходят тьмами (тьма тьмущая, Тьму-Таракань и т. д.). Только — обманы.

---

\* Прикасался.

Возвращаясь к миру фактов. Оговорка — и важная: говорят, что сейчас изданы три тома пугачевского архива, из которых Пугачев встает совсем иным, чем в «Истории пугачевского бунта», а именно — без всякой низости, мужичьим царем, и т. д.

Но дело для нас в данном случае не в Пугачеве, а в Пушкине, иных материалов, кроме дворянских (пристрастных), не знавшем и этим дворянским — поверившем. Как Пушкин, по имеющимся данным, Пугачева видел. И сличаю я только пушкинского Пугачева — с пушкинским.

Если же, паче чаяния, Пугачев на самом деле встает мечтанным мужичьим царем, великодушным, справедливым, смелым — что ж, значит, Пушкин еще раз прав и один только и прав. Значит, прав был — унижающим показаниям в глубине своего существа не поверив. Только очами им поверив, не душой.

Как ни обернись — прав:

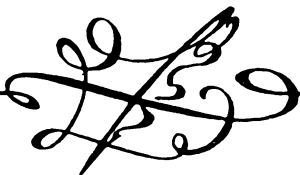
Был Пугачев низкий и малодушный злодей — Пушкин прав, давая его высоким и бесстрашным, ибо тьмы низких истин нам дороже...

Был Пугачев великодушный и бесстрашный мужичий царь — Пушкин опять прав, его таким, а не архивным — дав. (NB! Пушкин архив опроверг не словом, а делом.)

Но, повторяю, дело для нас не в Пугачеве, каков он был или не был, а в Пушкине — каков он был.

Был Пушкин — поэтом. И нигде он не был с такой силой, как в «классической» прозе «Капитанской дочери».

## СТИХОТВОРЕНИЯ



## ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

Я подымаюсь по белой дороге,  
 Пыльной, звенящей, крутой.  
 Не устают мои легкие ноги  
 Выситься над высотой.

Слева — крутая спина Аю-Дага,  
 Синяя бездна — окрест.  
 Я вспоминаю курчавого мага  
 Этих лирических мест.

Вижу его на дороге и в гроте...  
 Смуглую руку у лба...—  
 Точно стеклянная на повороте  
 Продребезжала арба...—

Запах — из детства — какого-то дыма,  
 Или каких-то племен...  
 Очарование прежнего Крыма  
 Пушкинских милых времен.

Пушкин! — Ты знал бы по первому слову,  
 Кто у тебя на пути.  
 И просиял бы, и под руку в гору  
 Не предложил мне идти.

## МОЙ ПУШКИН

Не опираясь на смуглую руку,  
Я говорила б — идя,  
Как глубоко презираю науку  
И отвергаю вождя,

Как я люблю имена и знамена,  
Волосы и голоса,  
Старые вина и старые троны,—  
Каждого встречного пса!—

Полуулыбки в ответ на вопросы,  
И молодых королей...  
Как я люблю огонек папиросы  
В бархатной чаше аллей,

Марionеток и звон тамбурина,  
Золото и серебро,  
Неповторимое имя: Марина,  
Байрона и болеро,

Ладанки, карты, флаконы и свечи,  
Запах кочевий и шуб,  
Лживые, в душу идущие, речи  
Очаровательных губ.

Эти слова: «никогда» и «навек»,  
За колесом — колею...  
Смуглые руки и синие реки,  
— Ах,— Мариулу твою! —

Треск барабана — мундир властелина —  
Окна дворцов и карет,  
Рощи в сияющей пасти камина,  
Красные звезды ракет...

Вечное сердце свое и служенье  
Только ему, Королю.  
Сердце свое и свое отраженье  
В зеркале...— Как я люблю...

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Кончено...— Я бы уж не говорила,  
Я посмотрела бы вниз...  
Вы бы молчали, так грустно, так мило  
Тонкий обняв кипарис.

Мы помолчали бы оба — не так ли?  
Глядя, как где-то у ног,  
В милой какой-нибудь маленькой сакле  
Первый блеснул огонек.

И — потому что от худшей печали  
Шаг — и не больше! — к игре,  
Мы рассмеялись бы и побежали  
За руку вниз по горе.

1913

\* \* \*

Счастье или грусть —  
Ничего не знать наизусть,  
В пышной тальме катать бобровой,  
Сердце Пушкина теревить в руках,  
И прослыть в веках —  
Длиннобровой,  
Ни к кому не суровой —  
Гончаровой.

Сон или смертный грех —  
Быть как шелк, как пух, как мех,  
И, не слыша стиха литого,  
Процветать себе без морщин на лбу.

Если грустно — кусать губу,  
И потом, в гробу,  
Вспоминать Ланского.

1916



## ПСИХЕЯ

Пунш и полночь. Пунш — и Пушкин,  
 Пунш — и пенковая трубка  
 Пышущая. Пунш — и лепет  
 Бальных башмачков по хриплым  
 Половицам. И — как призрак —  
 В полукруге арки — птицей —  
 Бабочкой ночной — Психея!  
 Шепот: «Вы еще не спите?  
 Я — проститься...» Взор потуплен.  
 (Может быть, прощенья просит  
 За грядущие проказы  
 Этой ночи?) — Каждый пальчик  
 Ручек, павших Вам на плечи,  
 Каждый перл на шейке плавной  
 По сто раз перецелован.  
 И на цыпочках — как пери! —  
 Пируэтом — привиденьем —  
 Выпорхнула. — Пунш — и полночь.  
 Вновь впорхнула: «Что за память!  
 Позабыла опახало!  
 Опоздаю... В первой паре  
 Полонеза...» Плащ накинув  
 На одно плечо — покорно —  
 Под руку поэт — Психею  
 По трепещущим ступенькам  
 Провожает. Лапки в плед ей  
 Сам укутал, волчью полость  
 Сам запахивает... — «С богом!»

А Психея,  
 К спутнице припав — слепому  
 Пугалу в чепце — трепещет:  
 Не прожог ли ей перчатку  
 Пылкий поцелуй арапа...

Пунш и полночь. Пунш и пепла  
 Ниспадение на персидский  
 Палевый халат — и платья  
 Бального пустая пена  
 В пыльном зеркале...

## СТИХОТВОРЕНИЯ

## СТИХИ К ПУШКИНУ

1

Бич жандармов, бог студентов,  
Желчь мужей, услада жен —  
Пушкин — в роли монумента?  
Гостя каменного? — он,

Скалозубый, наголовзорый  
Пушкин — в роли Командора?

Критик — нб́я, нытик — вторя:  
«Где же пушкинское (взрыд)  
Чувство меры?» Чувство моря  
Позабыли — о гранит

Бьющегося? Тот, солёный  
Пушкин — в роли лексикона?

Две ноги свои — погреться  
Вытянувший, и на стол  
Вспрыгнувший при самодержце  
Африканский самовол —

Наших прадедов умора —  
Пушкин — в роли гувернера?

Черного не перекрасить  
В белого — неисправим!  
Недурён российский классик,  
Небо Африки — своим

Звавший, невское — проклятым.  
Пушкин — в роли русопята?

Ох, брадатые авгуры!  
Задал, задал бы вам бал  
Тот, кто царскую цензуру  
Только с дурой рифмовал,

А «Европы Вестник» — с...  
Пушкин — в роли гробокопа?

## МОЯ ПУШКИН

К пушкинскому юбилею  
Тоже речь произнесем:  
Всех румяней и с м у г л е е  
До сих пор на свете всем,

Всех живучей и живее!  
Пушкин — в роли мавзолея?

То-то к пушкинским избушкам  
Лепитесь, что сами — хлам!  
Как из душа, как из пушки —  
Пушкиным — по соловьям

Слѡва соколѡм полета!  
— Пушкин — в роли пулемета!

Уши лопнули от вопля:  
«Перед Пушкиным во фронт!»  
А куда девали пѣкло  
Губ, куда девали — бунт

Пушкинский? уст окаянство?  
Пушкин — в меру пушкиньянца!

Томики поставив в шкафчик —  
Посмешаете ж его,  
Беженство свое смешавши  
С белым бешенством его!

Белокровье мозга, морга  
Синь — с оскалом негра, горло  
Кажущим...

Поскакал бы, Всадник Медный,  
Он со всех копыт — назад.  
Трусоват был Ваня бедный,  
Ну, а он — н е трусоват.

Сей, глядевший во все страны —  
В роли собственной Татьяны?

Что вы делаете, карлы,  
Этот — голубей олив —

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Самый вольный, самый крайний  
Лоб — навеки заклеимив

Низостию двуединой  
Золота и середины?

«Пушкин — тога, Пушкин — схи́ма,  
Пушкин — мера, Пушкин — грань...»  
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя  
Благородное — как брань

Площадную — попугаи.

Пушкин? Очень испугали!

1931

2

## ПЕТР И ПУШКИН

Не флотом, не по́том, не задом  
В заплатах, не Шведом у ног,  
Не ростом — из всякого ряду,  
Не сносом — всего, чему срок,—

Не лотом, не ботом, не пивом  
Немецким — сквозь кнастеров дым,  
И даже и не Петро-дивом  
Своим (Петро-делом своим!).

И большего было бы мало  
(Бог дал, человек не обузы!),  
Когда б не привез Ганнибала —  
Арапа на белую Русь.

Сего афричонка в науку  
Взяв, всем россиянам носы  
Утер и наставил,— от внука-  
то не грского — свет на Руси!

Уж он бы вертлявого — в струнку  
Не стал бы! — «На волю? Изволь!

## МОИ ПУШКИН

Такой же ты камерный юнкер,  
Как я — машкерадный король!»

Поняв, что ни пеной, ни пемзой —  
Той Африки — царь-грамотей  
Решил бы: «Отныне я — цензор  
Твоих африканских страстей».

И дав бы ему по загривку  
Курчавому (стричь — не остричь!):  
«Иди-ка, сынок, на побывку  
В свою африканскую дичь!

Плыви — ни об чем не печалься!  
Чай, есть в паруса кому дуть!  
Соскучишься — так ворочайся,  
А нет — хошь и дверь позабуди!

Приказ: ледяные туманы  
Покинув, — за пядию пядь  
Обследовать жаркие страны  
И виршами нам описать».

И мимо наставленной свиты,  
Отставленной — прямо на склад,  
Гигант, отпустивши пииту,  
Помчал — по земле или н а д?

Сей, не по снегам смуглолицый  
Российским — снегов Измаил!  
Уж он бы заморскую птицу  
Архивами не заморил!

Сей, не по кровям торопливый  
Славянским, сей т о ж е — метис!  
Уж ты б у него по архивам  
Отечественным не заки!

Уж он бы с тобою — поладил!  
За непринужденный поклон  
Разжалованный — Николаем  
Пожалованный бы — Петром!

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Уж он бы жандармского сыска  
 Не крыл бы «отечеством чувств»!  
 Уж он бы тебе — василиска  
 Взгляд! — не замораживал уст.

Уж он бы полтавских не комкал  
 Концов, не тупил бы пера.  
 За что недостойным потомком —  
 Подонком — опенком Петра

Был сослан в румынскую область,  
 Да ею б — пожалован был  
 Сим — так ненавидевшим робость  
 Мужскую, что сына убил

Сробевшего. — «Эта мякина —  
 Я? — Вот и роди! и расти!»  
 Был не гр ему истинным сыном,  
 Так истинным правнуком — ты

Останешься. Заговор равных.  
 И вот, не спросясь повитух,  
 Гигантова крестника правнук  
 Петров унаследовал дух,

И шаг, и светлейший из светлых  
 Взгляд, коим поныне — светла...  
 Последний — посмертный — б е с смертный  
 Подарок России — Петра.

1931

3

(СТАНОК)

Вся его наука —  
 Мощь. Светло — гляжу:  
 Пушкинскую руку  
 Жму, а не лижу.

## МОЯ ПУШКИН

Прадеду — товарка:  
В той же мастерской!  
Каждая помарка —  
Как своей рукой.

Вольному — под стопки?  
Мне, в котле чудес  
Сём — открытой скобки  
Ведающей — вес,

Мнящейся описки —  
Смысл. Короче — всё.  
Ибо нету сыска  
Пуще, чем родство!

П е л о с ь как — поется  
И поныне — так.  
Знаем, как «дается»!  
Над тобой, «пустяк»,

Знаем — как потелось!  
От тебя, мазок,  
Знаю — как хотелось  
В лес — на бал — в возок...

И как — спать хотелось!  
Над цветком любви  
Знаю, как скрипелось  
Негрскими зубьями!

Перья на вострѳты —  
Знаю, как чинил!  
Пальцы не просохли  
От его чернил!

А зато — меж талых  
Свеч, картежных сеч —  
Знаю — как стрясалось!  
От зеркал, от плеч

Голых, от бокалов  
Битых на полу —

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Знаю, как бежалось  
К голому столу!

В битву без злодейства:  
Самого — с самим!  
— Пушкиным не бейте!  
Ибо бью вас — им!

1931

4

Преодоление  
Косности русской —  
Пушкинский гений?  
Пушкинский мускул!

На кашалотьей  
Туше судьбы —  
Мускул полета,  
Бега,  
Борьбы.

С утренней негой  
Бившийся — бодро!  
Ровного бега,  
Долгого хода —

Мускул. Побегов  
Мускул степных,  
Шлюпки, что к берегу  
Тщится сквозь вихрь.

Не онедужен  
Русскою кровью —  
О, не верблюжья  
И не воловья  
Жила (усердство  
Из-под ремня!) —  
Конского сердца  
Мышца — моя!



## МОИ ПУШКИН

Больше балласту —  
Краше осанка!  
Мускул гимнаста  
И арестанта,  
Что на канате  
Собственных жил  
Из каземата  
Соколом взмыл!

Пушкин — с монарших  
Рук руководством  
Бившийся так же  
На смерть — как бьется  
(Мощь — прибывала,  
Сила — росла)  
С мускулом вала  
Мускул весла.

Кто-то, на фуру  
Несший: «Атлета  
Мускулатура,  
А не поэта!»

То — серафима  
Сила — была:  
Несокрушимый  
Мускул — крыла.

1931

5

(ПОЭТ И ЦАРЬ)

I

Потусторонним  
Залом царей.  
— А непреклонный  
Мраморный сей?

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Столь величавый  
 В золоте барм.  
 — Пушкинской славы  
 Жалкий жандарм.

Автора — хаял,  
 Рукопись — стриг.  
 Польского края  
 Зверский мясник.

Зорче взглядися!  
 Не забывай:  
 Певцоубийца  
 Царь Николай.

Первый.

## II

Нет, бил барабан перед смутным полком,  
 Когда мы вождя хоронили:  
 То зубы царёвы над мертвым певцом  
 Почетную дробь выводили.

Такой уж почет, что ближайшим друзьям  
 Нет места. В изглавье, в изножье,  
 И справа, и слева — ручищи по швам —  
 Жандармские груди и рожи.

Не дивно ли — и на тишайшем из лож  
 Пребыть поднадзорным мальчишкой?

На что-то, на что-то похож  
 Почет сей: почетно — да слишком!  
 Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,  
 Монарх о поэте печется!  
 Почетно — почетно — почетно — архи-  
 Почетно, — почетно — до черту!

Кого ж это так — точно воры ворà  
 Пристреленного — выносили?  
 Изменника? Нет. С проходного двора —  
 У мн е й ш е г о м у ж а Р о с с и и.

## ОТРЫВКИ



## ИЗ СТАТЬИ «ПОЭТ О КРИТИКЕ»

...Есть... читатель — некультурный. Читатель... понаслышке, с такой давностью *post-factum*, что Надсона в 1925 году считают современником, а шестидесятилетнего Бальмонта — подающим надежды юнцом. Отличительная черта такого читателя — неразборчивость, отсутствие *Orientierungssinn\**. Так, говоря «модернизм», мешает в одну кашу и Бальмонта, и Вертинского, и Пастернака, не отмечая ни постепенности, ни ценности, ни места, созданного и занимаемого поэтом, и покрывая все это непонятным для себя словом «декаденты». (Я бы «декадент» вела от декады, десятилетие. У каждого десятилетия — свои «декаденты»! Впрочем, тогда было бы «декадисты» или «декадцы».) Такой читатель всё, что позже Надсона, называет декадентством и всему, что позже Надсона, противопоставляет Пушкина. Почему не Надсону — Пушкина? Потому что Надсона знает и любит. А почему Пушкина? Потому, очевидно, что Пушкину на

\* способность ориентироваться (*нем.*). — *Ред.*

## ОТРЫВКИ

Тверском бульваре поставлен памятник. Ибо, утверждаю, Пушкина он не знает. Читатель понаслышке и здесь верен себе.

Но — хрестоматии, колы, экзамены, бюсты, маски, «Дуэль Пушкина» в витринах и «Смерть Пушкина» на афишах, пушкинский кипарис в Гурзуфе и пушкинское «Михайловское» (где, собственно?), партия Германна и партия Ленского (обыватель Пушкина действительно знает с голосу!), однотомный Пушкин — Сытин с Пушкиным-ребенком — подперев скулу — и пятьюстами рисунками в тексте (метод наглядного обучения поэзии. Стихи — во очию. Обыватель Пушкина действительно знает — с виду!) — не забыть, в гостиной (а то и в столовой!) — Репина — волочащуюся по снегу полушинели! — вся эта почтенная, изобилующая юбилеями, давность — Тверской бульвар, наконец, с лже-пушкинским двустижием:

И долго буду тем народу я любезен,  
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
 Что прелестью живой стихов я был  
 полезен...

Понаслышке (тенора и баритоны), понаглядке (уже упомянутое издание Сытина), по либретто и по хрестоматиям — и по либретто больше, чем по хрестоматиям! — вот знакомство русского обывателя с Пушкиным. И вот, против всего и вся — Пушкин и русский язык.

— Что вы любите у Пушкина? — Всё. — Ну, а больше всего? — «Евгения Онегина». — А из лирики? — Пауза. Иногда — хрестоматическая реминисценция: — «Зима. Крестьянин торжествует». Иногда — ассоциация по смежности: «Парус»...

Из прозы, непреложно, «Капитанская дочка». Пушкинского «Пугачева» не читал никогда.

В общем, для такого читателя Пушкин — нечто вроде постоянного юбиляра, только и делавшего, что умиравшего (дуэль, смерть, последние слова царю, прощание с женой, прочее).

Такому читателю имя — чернь. О нем говорил и его ненавидел Пушкин, произнося «Поэт и чернь». Чернь, мрак, темные силы, подтачиватели тронов несравненно ценнейших царских. Такой читатель — враг, и грех его — хула на Духа Свята.

В чем же этот грех? Грех не в темноте, а в нежелании света, не в непонимании, а в сопротивлении пониманию, в намеренной слепости и в злостной предвзятости. В злой воле к добру.

1926

### ИЗ ОЧЕРКА «НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА»

Наталья Гончарова... вкратце.

Молодая девушка, красавица, та непременно красавица многодочерних русских семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер — младшая, но старшая или младшая, красавица — сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи выходит замуж за — остановка — за кого в 1831 г. выходила Наталья Гончарова?

Есть три Пушкина. Пушкин — очами любящих (друзей, женщин, стихолюбов, студенчества), Пушкин — очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин — очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки — по-

## ОТРЫВКИ

смертные отзвывы) и, наконец, Пушкин — очами будущего — н а с.

За кого же из них выходила Гончарова? Во всяком случае, не за первого и тем самым уже не за последнего, ибо любящие и будущие — одно. Может быть, за второго — Пушкина сплетен — и — как ни жестоко сказать — вернее всего за Пушкина очами суда, Двора: за Пушкина — пусть со стихами, но без чинов, — за Пушкина — пуще, чем без чинов — вчерашнего друга декабристов, за Пушкина поднадзорного.

Что бы ни говорилось о любви Николая I к Пушкину, этого слова государя о поэте достаточно: «Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же посланную, но, слава богу, умер христианином». И еще, в ответ на нижеследующие слова Паскевича: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созрел, но человек он был дурной». — «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее». (Будущее — что? «Хороший» человек, в противовес «дурному», бывшему? Или будущий большой писатель. Если первое, — откуда он взял, вернее, как он, хоть на ноготь зная Пушкина, мог допустить, что Пушкин будет «хорошим» (в его толковании!). Да даже если бы на смертном одре самоустно ему, государю, поклялся — клянется у м и р а ю щ и й, держит (не держит) живущий. Если же второе, неужели государю всего данного Пушкиным было — мало? Где он видал больше? Да было ли больше в тридцать шесть лет? Но

бог иногда речет устами (даже цензоров!) — бывшее бы (поведение, дарование) — вот что хотел сказать, а сказал будущее, то есть назвал нас, безутешных в таком пушкинском окружении.

Николай I Пушкина ласкал, как опасного зверя, который вот-вот разорвет. Пушкина — приручал. Беседа с «умнейшим человеком России»? Ум — тоже хищный зверь, для государей — самый хищный зверь. Особенно — вольный. Николай I Пушкина засадил в клетку, а клетку позолотил (мундир камер-юнкера и — о, ирония! — вместо заграничной подорожной — открытый доступ в архив, которым, кстати, Пушкина при себе и держал. — «Ты — в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом». И — Пушкин остался. Вместо деревни — Двор, вместо жизни — смерть).

Николай I Пушкина видел под страхом, под страхом видела его и Гончарова. Их отношение — тождественно. Если Николай I, как мужчина и умный человек, боялся в нем ума, Наталья Гончарова, как женщина, существо инстинкта, боялась в нем — его всего. Николай I видел, Наталья Гончарова чуяла, и еще вопрос — какой страх страшней. Ума ли, сущности ли, оба, и государь, и красавица, боялись, и боялись силы.

Почему Гончарова все-таки вышла замуж за Пушкина, и некрасивого, и небогатого, и незнатного, и неблагонадежного? Нелюбимого. Разорение семьи? Вздор! Такие красавицы разорять созданы. Захоти Гончарова, она в любую минуту могла бы выйти замуж за самого блистательного, самого богатого, самого благонадежного, — самое обратное Пушкину. Его слава? Но Гончарова, как красавица — просто красавица — только, не была

## ОТРЫВКИ

честолюбивой, а слава Пушкина в ее кругах — ее мы знаем. Его стихи? Вот лучшее свидетельство, из ее же уст:

«Читайте, читайте, я не слушаю».

А вот наилучшее, из уст — его:

«...Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, но как уловить, что пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне, потом я испытал истинные угрызения совести: ей так хотелось спать!»

— Почему вы тотчас же не записали этих стихов?

Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил:

— Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать, она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились».

(А. О. Смирнова. Записки, т. 1)

Почему же? За что же?

Страх перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла из страху, так же, как Николай I из страху взял его под свое цензорское крыло.

Не выйду, так... придется выйти. Лучше выйду. Проще выйти. «Один конец», так звучит согласие Натальи Гончаровой. Гончарова за Пушкина вышла без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодоухотворенной плоти — шаг куклы! — а может быть, и с тайным содроганием. Пушкин знал, и знал в этот час больше, чем сама Гончарова. Не говоря о предвидении — судьбе — всем над и под событиями — Пушкин, как мужчина, знавший много женщин, не мог не знать о Гончаровой больше, чем Гончарова, никогда еще не любившая.



Вот его письмо:

«Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность Вашей дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца.

...Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она отвращения ко мне? Бог свидетель — я готов умереть ради нее, но умереть ради того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, — эта мысль — адское мучение!»

(Пушкин — Н. И. Гончаровой (матери) в перв. полов. апреля 1830 г.)

Пушкин в этот брак вступил зрячим, не с раскрытыми, а с раздернутыми глазами, без век. Гончарова — вслепую или вполуслепую, с веками-за-весами, как и подобает девушке и красавице.

С Гончаровой с самого начала снята вина.

(«Молодость, неопытность, соображения семьи». Не доводы. Княгиня Волконская тоже была молода и неопытна, а семья — вспомним ее сборы в Сибирь! — тоже соображала — и как! «Молодость, неопытность, семья» — принадлежность всех невест того времени и ничего не объясняют. Не говоря уже о том, что девушки того круга почти исключительно жили чувствами и искусствами и тем самым больше понимали в делах сердца, чем наши самые бойкие, самые трезвые, самые просвещенные современницы.)

## ОТРЫВКИ

— Эту жизнь мы знаем. Выезжала, блистала, повергала к ногам всех, от тринадцатилетнего лицеиста до всероссийского самодержца — не хотя, но не противясь — как подобает Елене, рождала детей, называла их, по желанию мужа, простыми именами. (Мария, Александр, третьего: «Он дал мне на выбор Гаврилу и Григория (в память Пушкиных, погибших в Смутное время). Я выбрала Григория». (Хорош выбор — между удавкой и веревкой!) В данную минуту с ней все мое сочувствие, право матери, явившей в мир, являть и в имени. Не то плохо, что Григорий плох, а что ей пришлось выбрать Григория.

Безучастность в рождении, безучастность в наименовании, нужно думать — безучастность в зачатии их.

Как — если не безучастность к собственному успеху — то неучастие в нем, ибо преуспевали глаза, плечи, руки, а не сущность, не воля к успеху: «вошел — победил». Входить — любила, а входить — побеждать. — Безучастность к работе мужа, безучастность к его славе. Предельное состояние претерпевания.

Кокетство? Не больше, чем у современниц, менее прекрасных. Не она более кокетлива — те менее прекрасны. Отсюда успех.

Две страсти, если можно применить к ней это слово: свет и обратная страсть: отвращение к деревне. Так, Пушкину, на мечту о Болдине: «С волками? Бой часов? Да вы с ума сошли!» И залилась слезами.

Дурная жена? Не хуже других, таких же. Дурная мать? Не хуже других, от нелюбимого мужа. Когда Пушкина убили, она плакала.

Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она — которые не насчитываются тысячами. Было в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И — сразила.

Просто — красавица. Просто — гений.

Ибо все: и предательство в любви, и верность в дружбе, и сыновность своим дурным и бездарным родителям (прямо исключаяющим возможность Пушкина)... и страстная сыновность России — не матери, а мачехе! — и ревность в браке, и неверность в браке, — Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин Гавриилиады, Пушкин церкви, Пушкин — бесчисленности своих ликов и обличей — все это спаяно и держится в нем одним: поэтом.

Все на потребу! Керн так Керн, Пугачев так Пугачев, дворцовые ламповщики так дворцовые ламповщики (с которыми ушел и пропал на три дня, слушая и записывая. Пушкина — все уводило).

В своем (гении) то же, что Гончарова — в своем (красоте). В своем гении то же, что Гончарова в своем. Не пара? Нет, пара. Та рифма через строку со всей возможностью смысловой бездны в промежутке. Разверзлась.

Пара по силе, идущей в разные стороны, хотелось бы сказать: пара друг от друга. Пара — врозь. Это, а не другое, в поверхностном замечании Вячеславского: «Первый романтический поэт нашего времени на первой романтической красавице».

Неправы другие с их «не-парностью». Первый на первой. А не первый по уму на последней (ду-

## ОТРЫВКИ

ре), а не первая по красоте на последнем (заморыше). Чистое явление гения, как чистое явление красоты. Красоты, то есть пустоты. (Первая примета рокового человека: не хотеть быть роковым и зачастую даже этого не знать. Как новатор никогда не хочет быть новатором и искренне убежден, что просто делает по-своему, пока ему ушей не прожужжат о его новизне, левизне! — роковое: эманация.)

Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. (Пушкинский гроб под розами!) Как Елена Троянская — повод, а не причина Троянской войны (которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса), так и Гончарова — не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу.

Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно («огончарован») считал за чары — тяга гения — переполненности — к пустому месту. Чтоб было куда. Были же рядом с Пушкиным другие, недаром же взял эту! (Знал, что брал.) Он хотел нуль, ибо сам был — всё. И еще он хотел того всего, в котором он сам был нуль. Не пара — Россет, не пара — Раевская, не пара — Керн, только Гончарова — пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны были, он хотел первого и недостижимого. Женитьба его так же гениальна, как его жизнь и смерть.

«Она ему не пара» — точно только то пара, что спевается! Есть пары по примете взаимного тяго-

тения, счастливые по замыслу своему, по движению к — через обеденный ли стол (Филимон и Бавкида), через смертное ли ложе (Ромео и Джульетта), через монастырскую решетку (Элоиза и Абельяр), через все моря (Тристан и Изольда), — через все вопреки — вопреки всем через — счастливые: любящие.

Есть пары — тоже, но разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший Брунгильды, Пенфезилея, не узнавшая Ахилла, где рок — в недоразумении, хотя бы роковом. Пары — всё же.

А есть роковые — пары, с осужденностью изнутри, без надежды ни на сем свете, ни на том.

Пушкин — Гончарова.

Что такое Гончарова по свидетельствам современников? Красавица. *Nathalie est un ange*\* (Смирнова). «Печать меланхолии, отречения от себя...» (NB! от очередного бала или платья?) Молчаливая. Если приводятся слова, то пустые. До удивительности бессловесная. Все об улыбке, походке, очах, плечах, даже ушах — никто о речах. Ибо вся — в улыбках, очах, плечах, ушах. Так и останется: невинная, бессловесная — Елена — кукла — орудие судьбы.

Страсть к балам — то же, что пушкинская страсть к стихам: единственная полная возможность выявления. (Явиться — выявиться!) Входя в зал — рекла. Всем, от мочки ушка до носка башмачка. Всем сразу. Всем, кроме слов. Все être \*\* кра-

\* Наташа — ангел (франц.). — Ред.

\*\* быть (франц.). — Ред.

## ОТРЫВКИ

савицы — в paradis \* . Зал и бал — естественная родина Гончаровой. Гончарова только в эти часы была. Гончарова не кокетничать хотела, а быть. Вот и разгадка Двора и деревни.

А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома — умирала.

Богиня, превращающаяся в куклу, возвращающаяся в небытие.

Если друг другу не пара, то только в христианском смысле брака, зиждущегося на совместном устремлении к добру. Ни совместности, ни устремления, ни добра. Впрочем, устремление было: брачная парная карета, с заездом на Арбат, дом Хитровой (туда молодые поехали после венца), гнала прямо на Черную речку. Отсюда пути расходятся: Гончарова — к Ланскому, Пушкин — в Святогорский монастырь.

Языческая пара, без бога, с только судьбой.

Жуткая подробность. Карета, увозившая Пушкина на Черную речку, на Дворцовой набережной поравнялась с каретой Гончаровой. Увидь они друг друга... «Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону».

Фактическое. Пушкин должен был быть убит человеком на белой лошади, в которого так свято верил, что даже ошибочно считал его Вейскопфом (он точно смерть свою примерял) — одним из гене-

---

\* казаться (франц.). — Ред.

ралов польской войны, на которую стремился — навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбирает Дантеса, пустое место, равное Гончаровой. Пушкин убит не белой головой, а каким-то — пробелом.

Кто бы — кроме?

«Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться, и прождал напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решил не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно».

(Гр. В. А. Соллогуб — обиженный им!)

Не такой же, а именно Дантес, красавец, кавалергард, смогший на прощальные прощающие слова Пушкина со смехом ответить: «Передайте ему, что я его тоже прощаю!» Не Дантес смеялся, пушкинская смерть смеялась, — той белой лошади раскат (оскал).

Чтобы не любить Пушкина (Гончарова) и убить Пушкина (Дантес), нужно было ничего в нем не понять. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом *in dem Kauf\**, то есть с собственной смертью. Посему, изменила Гончарова Пушкину или нет, только кокетничала или целовалась, только целовалась или другое все, ничего или все, — неважно, ибо Пушкин Дантеса вызвал за его любовь, не за ее любовь. Ибо Пушкин Дантеса вызвал бы в конце концов и за взгляд. Дабы сбылись писания.

И еще, изменила Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, все равно — невинна. Невинна

\* в придачу (нем.). — Ред.

## ОТРЫВКИ

потому, что кукла невинна, потому что судьба, потому что Пушкина не любила.

А Ланского любила и, кажется, была ему верной женой.

«Первая романтическая красавица наших дней» не боялась призраков. Призрак Пушкина (живого из живых, страстного из страстных — призрак а р а п а!) — страшен. Но она его не увидела, а не увидела его, потому что Пушкин знал, что не увидит. На призрак нужны — не те очи. Мало на него самых огромных, самых наталье-гончаровских глаз. Последний приход Пушкина был бы его последним поражением: она бы не оторвалась от Ланского, до которого наконец дорвалась.

Наталья Гончарова и Пушкин, Мария-Луиза и Наполеон. Тот же страшный сон, так скоро и так жадно забытый, Гончаровой на груди Ланского, Марией-Луизой на груди Нейперга.

Тяжело с нелюбимым. Хорошо с любимым. Так и в песнях поется. Нужно пожалеть и их.

Что же дальше с Гончаровой?

Раздарив все смертные реликвии Пушкина — «я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его несчастной дуэли», Нащокину — архалук (красный, с зелеными клеточками), серебряные часы и бумажник с ассигнацией в 25 р. и локоном белокурых волос, Далю — талисманый перстень с изумрудом и «черный сюртук с небольшой, в ноготок, дырочкой против правого паха» —

на вынос тела из дому в церковь «от истомления и оттого, что не хотела показываться жандар-



## МОИ ПУШКИН

мам» не явившись (первое неявление за сто явлений!).

— А вот еще свидетельство, девять недель спустя:

«То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всего сердца желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро».

(А. Н. Карамзин — Е. А. Карамзиной,  
8 апреля 1837 года из Рима.)

А вот другое, немного спустя:

«Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина: живут очень неподвижно, проводят время, как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни Завода, и она чаще грустна, чем весела».

(Д. Н. Гончаров —  
Екатерине Николаевне  
Дантес-Геккерн,  
из Полотняного Завода,  
4 сентября 1837 года.)

А вот и эпилог:

Наталья Николаевна Пушкина 18 июля 1844 года вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского.

1837-1844. Что же между? Два года добровольного изгнания на Полотняном Заводе — «Носи по мне траур два года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона», — потом все то же, под верховным покровительством государя Николая I, не раз выражавшего желание, «чтобы Наталья Николаевна по-преж-

## ОТРЫВКИ

нему служила одним из лучших украшений его царских приемов. Одно из ее появлений превратилось в настоящий триумф».

Наталья Николаевна и Николай I — еще раз сошлись.

Спящий в гробе мирно спи,  
Жизни радуйся живущий.

Так бы и «радовалась» — до старости, если бы, семь лет спустя после смерти Пушкина, не вышла замуж за Ланского, давшего ей — неисповедимы пути господни! — то, чего не мог дать — раз не дал! — Пушкин: человеческую душу.

Здесь кончается Гончарова — Елена, Гончарова — пустое место, Гончарова — богиня, и начинается другая Гончарова: Гончарова — жена, Гончарова — любящая, новая Гончарова, которая, может быть, и полюбила бы Пушкина.

Ну, а вне Пушкина, Дантеса, Ланского? Сама по себе? Не было. Наталья Гончарова вся в житейской биографии, фактах (другой вопрос — каких), как Елена Троянская — вся в борьбе ахейцев и данайцев. Елены Троянской — вне невольно вызванных и — тем — претерпенных ею событий просто нету. Пустое место между сцепившихся ладоней действия. Разведите — воздух.

...Живой голос Пушкина с Полотняного Завода: «Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое и доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом».

Конец августа 1834 года, а в феврале 1837 года «милое, чистое, доброе создание, ничем не заслуженное перед богом» приезжает на тот же Полотняный Завод — вдовой. Здесь протекают первые

два года ее вдовства, сначала в отчаянии (может быть — раскаянии?) — потом в грусти — потом в скуке. Смерть Пушкина, которую я, в иные часы, особенно любя его, охотно ее вижу в прелестном обличи Гончаровой, — Гончаровой прощания, например, поющей с ложечки, — чем в хохочущей образине Дантеса, — смерть Пушкина вернулась к месту своего исхождения: на первом ткацком станке Абрама Гончара ткалась смерть Пушкина.

Еще одно, чтобы больше к этому не возвращаться, — к тому, от чего оторваться нельзя — какое счастье для России, что Пушкин убит рукой иностранца. — Своей не нашлось!

...И еще одно: все безвозвратно, и едва ли когда-нибудь мне придется еще — устно — вернуться к смерти Пушкина — какая страшная посмертная месть Дантесу! Дантес жил — Пушкин рос. Тот поднадзорный и дерзкий литератор, запоздалый камер-юнкер, низкорослый муж первой красавицы, им убитый, — превращался на его глазах в первого человека России, не «шел в гору», а в гору — вырастал. «Дело прошлое» — так начал Соболевский свой вопрос — в упор — Дантесу (на который солгал или нет — Дантес?). В том-то и дело, что делу этому никогда не суждено было стать прошлым. Дантесу «освежала в памяти» Пушкина — вся Россия. «Он уверял, что и не подозревал даже, на кого он подымает руку» (А. Ф. Онегин).

Тогда не подозревал, потом — прозрел.

Убийца в нем рос по мере того, как вырастал — вовне — убитый. Дорос ли Дантес до простого признания факта? Кто скажет? Во всяком случае, далеко от кавалергардского смеха до последнего, что мы знаем о нем — стариковского:

## ОТРЫВКИ

— «Le diable s'en est mêlé!»\*

Первый, о ком слышно — Абрам Гончар. Абрам Гончар первый пускает в ход широкий станок для парусов. А России нужны паруса, ибо правит Петр. Сотрудник Петра. Петр бывает в доме. Несколько красоток-дочерей. Говорят, что в одну, с одной... Упоминаю, но не настаиваю. Но также не могу не упомянуть, что в одном позднем женском... лице лицо Петра отразилось, как в зеркале. Первый, о ком слышно, — изобретатель, умница, человек, шагавший с временем, которое тогда шагало шагом Петра.

Современник будущего — вот Абрам Гончар. Первый русский парус — его парус.

Абрамом Гончаром основан в 1712 г. первый полотняный завод, ставший впоследствии селом, потом и городком того же имени... (Кстати, я, пишущая эти строки и рожденная в 1892 году, еще застала сына Пушкина, почетного опекуна, бывавшего в доме у моего отца — Трехпрудный пер., д. № 8, соседнем доме Гончаровых. Сын Пушкина, несомненно, встречал в переулке свою двоюродную внучку.)

Та же я, в 1911 году, в Гурзуфе, знала столетнюю татарку, помнившую Пушкина. «Я тогда молодая была, двенадцать лет было. Веселый был, хороший был, на лодке кататься любил, девушек любил, орехи, конфеты дарил. А волосы...» — и трель столетних пальцев в воздухе.

На Полотняном Заводе, проездом в Крым, останавливалась Екатерина. Там же стоял и Кутузов.

---

\* Нечистый попутал! (франц.). — Ред.

## МОИ ПУШКИН

Полотняный Завод. Громадный красный сад, ныне торг и пустырь. Красный дом — пушкинский, собственно, — исчез почти совершенно. Большой дом, «дворец Гончаровых», цел до наших, 1929 года, дней. Девяносто комнат. Башни, вроде генуэзских.

...Пушкин на Полотняном Заводе был дважды: в первый раз, еще женихом, и жил тогда в красном доме. Во второй раз — поздней осенью 1834 года. «Еще недавно один из оставшихся стариков, бывший крепостной художник, говаривал так: «Еще бы не знать Пушкина; бывало, сидят они на балконе в красном доме, а мы детьми около бегаем. Черный такой был, конопатый, страшный из себя».

Дворянство Гончаровы получают при Екатерине, в 1780 году, точно нарочно, чтобы дать Пушкину «жениться на благородной». Кстати, вся mentalité\* семьи Гончаровых, особенно матери... — определено купеческая. В лице Натальи Ивановны Гончаровой Пушкину дана была самая настоящая теща.

. . . . .  
 Ты ждал, ты звал, я был окован,  
 Вотще рвалась душа моя!  
 Могучей страстью очарован,  
 У берегов остался я.

Странность детского восприятия. Семи лет я, конечно, не знала, кому и о чем, только знала: хрестоматия Покровского — Пушкин — «К морю». Следовательно, все написанное относится к морю и от него исходит. Ты ждал, ты звал, я был окован (мо-

\* строй мыслей (франц.). — Ред.

## ОТРЫВКИ

рем, конечно), вотще (которое я, не понимая, проносила как туда, то есть к тебе) (к морю) рвалась душа моя. Могучей страстью (то есть, опять-таки, морем) очарован, у берегов остался я. Остался потому, что ты слишком звал, а я слишком ждал.

Зачарованность до столбняка.

Столбняк любви.

...В чем гениальность пушкинского четверостишия? В непредвиденности словоряда третьей строки. Могучей страстью, да еще очарован. Зачарованность мощью. Непредвиденность эпитета «могучей» и «страсти» и непредвиденность понятия очарованности мощью. (Непредвиден не только словоряд, но и смыслоряд.) Страсть: жаркая, неистовая, роковая и пр. и пр., ни у кого: могучая. Очарованность — красотой, грацией, слабостью, никогда: мощью. (Показательная обмолвка: Пушкин очарован не данной женщиной, а «могучей страстью» — безмянным.) Усложненный и тем — нередкий случай — уточненный образ. Усложненный тем, что первичное, женщину, он заменил вторичным: своим чувством к ней (переведя на слова: «Деву» — конкретность, «страстью», отвлеченностью; очарованность страстью — отвлеченность на отвлеченность); уточненный тем, что ни один поэт ни ради ни одной женщины не оставался на берегу, и каждый (если у поэта есть множественное) — из-за собственного чувства — хотя бы к ней. Морю он противопоставляет страсть, по тогдашним (и всегдашним!) понятиям — морей морейшее. (Противупоставь он морю — «деву», мы бы Пушкина жалели — или презирали.)

. . . . .

Школу может создать: 1) теоретик, осознающий, систематизирующий и оглаворяющий свои приемы. Хотящий школу создать; 2) художник, питающийся собственными приемами, в приемы, пусть самим открытые, верящий — в годность их не только для себя, но для других и, что главное, не только для себя нынче, для себя — завтра. Спасшийся и спасти желающий... 3) пусть не теоретик, но — художник одного приема, много — двух. То, что ходит, верней, покоится, под названием «монолит».

Там, где налицо многообразие, школы, в строгом смысле слова, не будет. Будет — влияние, заимствование у тебя частных, отдельных, ты — в розницу. Возьмем самый близкий нам всем пример Пушкина.

Пушкин для его подвлиянных — «Онегин». Пушкинский язык — онегинский язык (размер, словарь). Понятие пушкинской школы — бесконечное сужение понятия самого Пушкина, один из аспектов его. «Вышел из Пушкина» — показательное слово. Раз — из — то либо *в* (другую комнату), либо на (волю). Никто в Пушкине не остается, ибо он сам в данном Пушкине не остается.

А остающийся никогда в Пушкине и не бывал.

Влияние всего Пушкина целиком? О, да. Но каким же оно может быть, кроме освободительного? Приказ Пушкина 1829 года нам, людям 1929 года, только контр-пушкинский. Лучший пример — «Темы и варьяции» Пастернака, дань любви к Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания.

## ОТРЫВКИ

ИЗ СТАТЬИ  
«ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ»

## ПОЭТ И СТИХИИ

*«Поэзия есть бог в святых мечтах земли».*

Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю.

Упоение, то есть опьянение — чувство само по себе не благое, вне-благое, — да еще чем?

Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья.

Когда будете говорить о святости искусства, помните это признание Пушкина.

— Да, но дальше...

— Да. Остановимся на этой единственной козырной для добра строке.

Бессмертья, может быть, залог!

Какого бессмертья? В боге? В таком соседстве один звук этого слова дик. Залог бессмертья самой природы, самих стихий — и нас, поскольку мы — они, она — строка, если не кощунственная, то явно языческая.

И дальше, черным по белому:

Итак — хвала тебе, Чума!  
Нам не страшна могилы тьма,  
Нас не смутит твое призванье!  
Бокалы пеним дружно мы,  
И девы-розы пьем дыханье,—  
Быть может — полное Чумы!



## МОЯ ПУШКИН

Не Пушкин, стихии. Нигде никогда стихии так не выговаривались. Наитие стихий — все равно на кого, сегодня — на Пушкина. Языками пламени, валами океана, песками пустыни — всем, чем угодно, только не словами — написано.

И эта заглавная буква Чумы, чума уже не как слепая стихия — как богиня, как собственное имя и лицо зла.

Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто — не судим. Скажи кто-нибудь из нас это — в жизни, или, лучше, сделай (подожги дом, например, взорви мост), мы все очнемся и закричим: «Преступление!» Именно, очнемся — от чары, проснемся — от сна, того мертвого сна совести с бодрствующими в нем природными — нашими же — силами, в который нас повергли эти несколько размеренных строк.

## ГЕНИЙ

Наитие стихий все равно на кого — сегодня на Пушкина. Пушкин в песенке Вильсоновой трагедии в первую голову гениален тем, что на него и ашло.

Гений: высшая степень подверженности наитию — раз, управа с этим наитием — два. Высшая степень душевной разъятости и высшая — собранности. Высшая — страдательности и высшая — действительности.

Дать себя уничтожить вплоть до какого-то последнего атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет — мир.

Ибо в этом, этом, этом атоме сопротивления (-вляемости) весь шанс человечества на гения. Без него гения нет — есть раздавленный человек, которым (он все тот же!) распираются стены не только

## ОТРЫВКИ

Бедламов и Шарантонов, но и самых благополучных жилищ.

Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть — без наития. Воля — та единица к бессчетным миллиардам наития, благодаря которой только они и есть миллиарды (осуществляют свою миллиардность) и без которой они нули — то есть пузыри над тонущим. Воля же без наития — в творчестве — просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты.

## ПУШКИН И ВАЛЬСИНГАМ

Не на одного Вальсингама нашла чума. Пушкину, чтобы написать «Пир во время чумы» нужно было быть Вальсингамом — и перестать им быть. Раскаявшись? Нет.

Пушкину, чтобы написать песню Пира, нужно было побороть в себе и Вальсингама и священника, выйти, как в дверь, в третье. Растворись он в чуме — он бы этой песни написать не мог. Открестись он от чумы — он бы этой песни написать не мог (порвалась бы связь).

От чумы (стихии) Пушкин спасся не в пир (ее над ним! то есть Вальсингама) и не в молитву (священника), а в песню.

Пушкин, как Гёте в «Вертере», спасся от чумы (Гёте — любви), убив своего героя той смертью, которой сам вождедел умереть. И вложив ему в уста ту песню, которой Вальсингам сложить не мог.

Смоги эту песню Вальсингам, он был бы спасен, если не для вечной жизни — так для жизни. А Вальсингам — мы все это знаем — давно на черной телеге.

## МОЯ ПУШКИН

Вальсингам — Пушкин без выхода песни.

Пушкин — Вальсингам с даром песни и волей к ней.



Почему я самовольно отождествляю Пушкина с Вальсингамом и не отождествляю его с священником, которого он тоже творец?

А вот. Священник в Пире не поет. (Священники вообще не поют.— Нет, поют — молитвы.) Будь Пушкин так же (сильно) священником, как Вальсингамом, он не мог бы не заставить его спеть, вложил бы ему в уста контр-гимн, Чуме—молитву, как вложил прелестную песенку (о любви) в уста Мери, которая в Пире (Вальсингам — то, что Пушкин есть) — то, что Пушкин любит.

Лирический поэт себя песней выдает, выдаст всегда, не сможет не заставить сказать своего любимца (или двойника) на своем, поэта, языке. Песенка в драматическом произведении всегда любовная обмолвка, нечаянный знак предпочтения. Автор устал говорить за других и вот проговаривается — песней.

Что у нас остается (в ушах и в душах) от Пира? Две песни. Песня Мэри — и песня Вальсингама. Любви — и Чумы.

Гений Пушкина в том, что он противовеса вальсингамовому гимну, противоядия Чуме — молитвы — не дал. Тогда бы вещь оказалась в состоянии равновесия, как мы — удовлетворенности, отчего добра бы не прибыло, ибо, утолив нашу тоску по противугимну, Пушкин бы ее угасил. Так, с толькогимном Чуме, бог, добро, молитва остаются — вне, как место не только нашей устремленности, но и от-

брасываемости: то место, куда отбрасывает нас Чума. Не данная Пушкиным молитва здесь как неминуемость. (Священник в Пире говорит по долгу службы, и мы не только ничего не чувствуем, но и не слушаем, зная заранее, что он скажет.)

О всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к первому, пройти взрячую тот путь, который прошел вслепую. Продумать вещь.

Поэт — обратное шахматисту. Не только шахматов, не только доски — своей руки не видеть, которой, может быть, и нет.



В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на бога в ней нет, только хвала Чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта песня?

Кощунство не в том, что мы, со страха и отчаяния, во время Чумы — пируем (так дети, со страха, смеются!), а в том, что мы в песне — апогее Пира — уже утратили страх, что мы из кары делаем — пир, из кары делаем дар, что не в страхе божием растворяемся, а в блаженстве уничтожения.

Если (как тогда верили все, как верим и мы, читая Пушкина) Чума — воля божия к нас покаранию и покорению, то есть именно бич божий.

Под бич бросаемся, как листва под луч, как листва под дождь. Не радость уроку, а радость удару. Чистая радость удару как таковому.

Радость? Мало! Блаженство, равного которому во всей мировой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума — или как их еще зовут.

Ведь после гимна Чуме никакого бога не было.

И что же остается другому священнику, как не: войдя («входит священник») — выйти.

Священник ушел молиться, Пушкин — петь. Пушкин уходит после священника, уходит последним, с трудом (как: с мясом) отрываясь от своего двойника Вальсингама, вернее, в эту секунду Пушкин распадается: на себя — Вальсингама — и себя — поэта, себя — обреченного и себя — спасенного.

А Вальсингам за столом сидит вечно. А Вальсингам на черной телеге едет вечно. А Вальсингама лопатой зарывают вечно.

За ту песню, которой спасся Пушкин.



Страшное имя — Вальсингам. Недаром Пушкин за всю вещь назвал его всего три раза (назвал — как вызывают, и так же трижды). Анонимное: Председатель, от которого вещь приобретает жуткую современность: еще родней.



Вальсингамы стихиям не нужны. Они берут их походя. Перебороть в Вальсингаме бога, увы, легче, чем в Пушкине — песню.

В «Пире во время чумы» Чума не на Вальсингама льстилась, а на Пушкина.

И — дивные дела! — Вальсингам, который для Чумы только повод к заполучению Пушкина, Вальсингам, который для Пушкина только повод к стихийному (чумному) себе, именно Вальсингам Пушкина от чумы спасает — в песню, без которой Пушкин не может быть стихийным собой. Дав ему песню и взяв на себя конец.

Последний атом сопротивления стихии во славу ей — и есть искусство. Природа, перебарывающая сама себя во славу свою.



Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий: слово.

Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно.

Гибель поэта — отрешение от стихий. Проще сразу перерезать себе жилы.



Весь Вальсингам — экстерриторизация (вынесение за пределы) стихийного Пушкина. С Вальсингамом внутри не проживешь: либо преступление, либо поэма. Если бы Вальсингам был — Пушкин его все равно бы создал.



Слава богу, что есть у поэта выход героя, третьего лица, его. Иначе — какая бы постыдная (и непрерывная) исповедь.

Так спасена хотя бы видимость.



«Апполоническое начало», «золотое чувство меры» — разве вы не видите, что это только всего: в ушах лицеиста застрявшая латынь.

Пушкин, создавший Вальсингама, Пугачева, Мазепу, Петра — изнутри создавший, не создавший, а извергший...

Пушкин — мёртв «свободной стихии»...

— Был и другой Пушкин.

— Да: Пушкин Вальсингамовой задумчивости. («Священник уходит. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость».)



Ноябрь 1830 г. Болдино. Сто один год назад. Сто один год спустя.



Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии — следовательно, и бунта — нет. Пушкин Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачева — любил.

...Найдите мне поэта без Пугачева! Без Самозванца! Без Корсиканца! — внутри. У поэта на Пугачева может только не хватить сил (средств). Mais L'intention y est toujours\*.



Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям.

Чужим? А есть ли для поэта — чужое? Пушкин в «Скупом рыцаре» даже скупость присвоил, в Сальери — даже — бездарность.



Есть в гимне Чуме две строки только-авторские, а именно:

И счастлив тот, кто среди волненья  
Их обретать и ведать мог.

Пушкин, на секунду отпущенный демоном, не дотерпел. Это, а не иное, происходит, когда мы у се-

---

\* Но намерение всегда наличествует (франц.).— Ред.

## ОТРЫВКИ

бя или у других обнаруживаем строку на затычку, ту поэтическую «воду», которая — не что иное как мель на ития.

Возьмем весь отрывок.

Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении Чумы!  
Всё, всё, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья —  
Бессмертья, может быть, залог!  
И счастлив тот, кто среди волненья  
Их обретаť и ведать мог.

Давайте по словам:

И счастлив тот — мало, мало и вяло после абсолютов наслаждения и упоения, явное повторение, ослабление, спуск — кто среди волненья — какого? — и опять какое малое слово (и вещь!). После всех ураганов и бездн! Аллегория житейского волненья после достоверности океанских волн. Их обретаť и ведать мог — обретаť неизъяснимы наслажденья — по-немецки? Во всяком случае, не по-пушкински и не по-русски дальше: и ведать (повторение, ибо обретаю уже ведаешь) мог. Да как тут, когда такое, не мочь? Галлицизм: *heureux celui qui a pu les connaître* \*, а в общем, резонерство, дикое в этом вихре.

Так случается, когда рука опережает слух.

<1932>

\* Счастлив тот, кто их изведать мог (франц.). — Ред.



## ИЗ СТАТЬИ «ПОЭТ И ВРЕМЯ»

«Долой Пушкина» есть ответный крик сына на крик отца «долой Маяковского» — сына, орущего не столько против Пушкина, сколько против отца. Крик «долой Пушкина» — первая на глазах уже не курящего отца и не столько на радость себе, сколько на зло ему выкуренная папироса. В порядке семейной ссоры, кончающейся — миром. (Ни отцу, ни сыну, по существу, ни до Маяковского, ни до Пушкина дела нет.)

Крик враждующих поколений.

Второй автор обывательскому крику: «Долой Пушкина» — худший из авторов: мода. На этой авторессе останавливаться не будем: страх отстать, то есть расписка в собственной овечьести. Что спрашивать с обывателя, когда этой овечьести подвержены и сами писатели, писательский хвост. У каждой современности два хвоста: хвост реставраторский и хвост новаторский, и один хуже другого.

Но крик не обывателя, крик большого писателя (тогда восемнадцатилетнего) Маяковского: долой Шекспира!

Самоохрана творчества. Чтобы не умереть — иногда — нужно убить (прежде всего — в себе). И вот Маяковский — на Пушкина. Своего, по существу, не врага, а союзника, самого современного поэта своего времени, такого же творца своей эпохи, как Маяковский — своей — и только потому врага, что его вылили в чугуна и этот чугуна на поколения навалили. (Поэты, поэты, еще больше прижизненной славы бойтесь посмертных памятников и хрестоматий!) Крик не против Пушкина, а против его памятника.

## ОТРЫВКИ

Самоохрана, кончающаяся (и кончившаяся), как только творец (боец) окреп.

...Пушкин с Маяковским бы сошлись, уже сошлись, никогда, по существу, и не расходились. Враждуют низы, горы — сходятся.

«Под небом места много всем» — это лучше всего знают горы.

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Гений дает имя эпохе, настолько он — она, даже если он этого недоосознает (якобы, прибавим, ибо Винчи, Гёте, Пушкин — сознавали).

Обыватель большей частью в вещах художества современен поколению предыдущему, то есть художественно сам себе отец, а затем и дед и прадед. Обыватель в вещах художества выбывает из строя к тридцати годам и с точки своего тридцатилетия неудержимо откатывается назад — через непонимание чужой молодости — к неузнаванию собственной молодости — к непризнанию никакой молодости — вплоть до Пушкина, вечную молодость которого превращает в вечное старчество, и вечную современность которого — в отродясь-старинность. И на котором и умирает.

Великий знаток не только своей современности, но и первый защитник подлинности новооткрытого тогда «Слова о полку Игореве» — Пушкин — предел обывательской осведомленности вокруг и назад. Всякое незнание, всякая немощь, всякая нежить — неизменно под прикрытие Пушкина, знавшего, могшего, ведшего.

## ИЗ ПИСЕМ И ЧЕРНОВЫХ ТЕТРАДЕЙ

●  
 Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он никогда бы не умер, жил бы вечно...

(Из письма 1931 г.)

●  
 Не хотела бы быть ни Керн, ни Ризнич, ни даже Марией Раевской. Карамзиной. А еще лучше — няней. Ибо никому, никому, никогда — с такой щемящей нежностью:

Подруга дней моих суровых,  
 Голубка дряхлая моя...

Ведь Пушкин (как вся его порода), любя презирал, дружба — чтит, только Гончарову не презирал (понятие жены!).

(Из черн. тетради 1931 г.)

●  
 Единственный памятник, который следовало бы сбить — это памятник Николая I, убийцы Пушкина.

Или, щадя работу Клодта, надпись:

«Памятник, воздвигнутый самодержавием убийце Пушкина».

(Из черн. тетради 1931 г.)

●  
 Все настоящие поэты знали себе цену, с Пушкина начиная. Цену своей силе.

(Из письма 1935 г.)

●  
 ...«Прощай, свободная стихия» — стихотворение романтическое, наиромантичнейшее из всех мне

## ОТРЫВКИ

известных — сама Романтика: Море, Любовь, Неволя, Наполеон, Байрон, Обожание...

(Из письма 1936 г.)



Мне твердят — Пушкин неперево́дим. Как может быть неперево́дим уже переведший, переложивший на свой (общечеловеческий) язык не сказанное и несказанное? Но переводить такого переводчика должен — поэт.

(Из письма 1936 г.)



Работала над пушкинскими переводами в течение шести месяцев — две тетради черновиков по двести страниц каждая — до четырнадцати вариантов некоторых стихотворений...

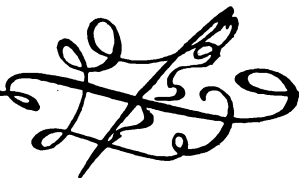
Главное, что хотелось, — возможно ближе следовать Пушкину, но следовать не рабски, что неминуемо заставило бы меня остаться позади, отстать от — текста и поэта. Каждый раз, что я продавалась в рабство, теряли на этом стихи.

...Мог ли Александр Пушкин, умерший почти сто лет тому назад, писать, как ваш Валери или как наш Пастернак? Перечитайте своих поэтов 1830 года, что они вам на это ответят?

Если бы, переводя, я создала Пушкина 1930 года, вы бы приняли его — но я бы совершила предательство.

(Из франц. письма 1936 г.)

## КОММЕНТАРИЙ



### МОЙ ПУШКИН

Опубликовано в журнале «Современные записки» (Париж, 1937, № 64). Сохранились три рукописные тетради «Моего Пушкина» с незначительными, по сравнению с публикацией, разночтениями (ниже приводятся некоторые вычеркнутые автором в окончательной редакции отрывки). Цветаева работала над произведением в конце 1936 года, начерно окончив его 28 декабря.

*Начинается как... Jane Eyre... Тайна красной комнаты.*— В начале романа английской писательницы Шарлотты Бронте «Джен Эйр» (1847) фигурирует нежилая и страшная «красная комната» с таинственными видениями и шорохами.

*«Дуэль» Наумова*— картина «Дуэль Пушкина» русского художника А. А. Наумова (1840—1895).

*Гончарова* Наталья Николаевна (1812—1863)— жена А. С. Пушкина. См. отрывки из очерка «Наталья Гончарова» и примеч. к ним.

*Мать.*— Мать Марины Цветаевой, Мария Александровна Мейн (1868—1906), польско-немецкого происхождения, редкостно одаренная в музыке пи-

анистка из плеяды учеников Рубинштейна. Ей посвящены ранние стихотворения Цветаевой 1909—1912 гг., воспоминания «Сказка матери» (1934), «Мать и музыка» (1935). «Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи... Негойса)», — писала Цветаева в 1926 году («Ответ на анкету»). О громадном духовном богатстве, унаследованном и воспринятом от матери, Цветаева писала: «О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с Ундидами, с Джен Эйрами, с Антонами-горемыками, с презрением к физической боли... точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот — хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще... Чтобы сразу накормить — на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала — и даже давила! — не давая улечься, умяться (нам — успокоиться), заливала и забивала с верхом — впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание — как в уже невмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? забывая вглубь — самое ценное — для большей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним — нырок в сундук, где, оказывается, еще *все*. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подало. (О, неистощимость материнского дна, непрерывность подачи! Мать точно заживо похоронила себя внутри нас — на вечную жизнь.) ...Мать не воспитывала — испытывала: силу сопротивления: подастся ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом — теперь — уже ничем не накормишь, не напоишь. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики...» («Мать и музыка»).

*Трехрудный дом.* — Цветаева выросла в Моск-

ве, в доме № 8 по Трехпрудному переулку (дом не сохранился).

*Памятник Пушкина* работы А. М. Опекушина, сооруженный в Москве в 1880 году, стоял на Тверском бульваре. В 1950 году был перенесен на противоположную сторону площади Пушкина.

*Ася* — Анастасия Ивановна Цветаева (р. 1894), сестра М. И. Цветаевой.

*Андрюша* — Андрей Иванович Цветаев (1890—1933), сводный брат М. И. Цветаевой, искусствовед.

*Среди цепей.* — До переноса на новое место памятник Пушкину был обнесен чугунными цепями.

*Подмена Жуковского.* — Подлинный пушкинский текст на памятнике был восстановлен в 1937 году.

*С 1884 года — установки памятника.* — Ошибка: памятник Пушкину открыт был в 1880 году.

*А там, в полях необозримых...* и т. д. — строфа из неопубликованной юношеской поэмы Цветаевой «Чародей» (1914).

*Сын Пушкина... Почетный опекун* — старший сын Пушкина Александр (1833—1914).

*У него на груди — звезда.* — После этих слов в рукописи шло:

«— А зовут его Александр Александрович, — продолжал отец, — и он очень похож на отца. Ты ведь знаешь, кто его отец?

— Мама сказала: Памятник-Пушкина.

— Ну, положим, не памятник Пушкина, а Александр Сергеевич Пушкин, наш великий русский поэт. Сколько, впрочем, голубка, Мусе лет?

— Три года, четвертый.

— Ну, значит, время еще есть. А все-таки, Муся, запомни, что ты трех лет от роду видела сына

А. С. Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать».

*Отец* — Иван Владимирович Цветаев (1846—1913), сын бедного сельского священника села Талицы Владимирской губернии, известный филолог и искусствовед, профессор Московского университета, директор Румянцевского музея и основатель Московского музея изящных искусств им. Александра III (ныне Музей изобразительных искусств имени Пушкина), «Герой труда», по выражению Цветаевой. Она посвятила отцу четыре очерка 1933 года (один из них — на французском языке), часто упоминала отца в автобиографической прозе. «Сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.)» («Ответ на анкету», 1926).

*Наталья Сергеевна Гончарова* (1881—1962) — русская художница, внучатая племянница Н. Н. Гончаровой (жены Пушкина). Цветаева посвятила ей большую прозаическую работу «Наталья Гончарова» (см. отрывки из нее).

*Валерия* — Валерия Ивановна Цветаева (1883—1966), сводная сестра М. И. Цветаевой.

*Александр Данилович Мейн* (1836—1899) — дед М. Цветаевой с материнской стороны, банковский служащий.

*Алеко влюблен в Земфиру.* — После этих слов в рукописи шло:

«Переполненная и прожженная Цыганами — мне было не больше пяти лет по полной чести и совести, это был мой первый год грамотности, и писала я еще плохо, — я, со старшими, молчала: с матерью — потому что боялась ее хуже грозы, с Асей — была мала, с Андрюшей — равнодушен, но в конце кон-



цов — то же самое, что вдыхать и не выдыхать — разорвешься! — и я нашла себе слушательницу...»

*О Пушкине и Пугачеве.* — См. «Пушкин и Пугачев».

*То-то же!* — После этих слов в рукописи шло:

«Прекрасно помню, во рту и в зубах ощущаю, остроту этого впервые произнесенного слова: страстные, вызванного нестерпимо-режущими черно-зрачковыми и стеклянными и — о, ирония! — именно бесстрастными глазами парижской куклы. Это было мое первое полное соответствие вещи и звука: то, что глядело на меня глазами парижской куклы — звучало так».

*Музыкальная школа Зограф-Плаксиной* — ныне музыкальная школа при Московской консерватории в Мерзляковском переулке. Цветаева училась в ней в шестилетнем возрасте.

*Другой героини* — Анны Карениной.

*Птичка божия* — из поэмы Пушкина «Цыганы». В рукописи вместо слов «Так что же она тогда делает?» и всего абзаца шло:

«(А может быть, эта птичка — самец, который, как известно, не знает ни забот, ни труда, и уж конечно не свивает хлопотливого гнезда. Но кто тогда будет писать стих про самца? Догадалась: эта птичка — поэтическая вольность».

*Багров-внук и Багров-дед* — из книг С. Т. Аксакова (1791—1859) «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука».

*Скоропадский П. П.* (1873—1945) — генерал царской армии, с 29 апреля по 14 декабря 1918 года был гетманом Украины, являясь ставленником германского империализма; бежал в Германию. Далее в рукописи зачеркнуто:

## КОММЕНТАРИИ

«...я всегда видела того скачущего казака, при звездах и при луне, который от кого-то кому-то что-то — и вот (Скоропадский) упадет... Больше я во всей истории всех измен и предательств ничего не поняла: кто-то кому-то что-то на кого-то — и скачет казак, и убьют — его».

*Отчего пальба и клики... чернобровая жена* — из стих. Пушкина «Пир Петра Первого».

*Черногорцы, что такое?..* — из стих. Пушкина «Бонапарт и черногорцы» («Песни западных славян»).

*Сама летит.* — После этих слов в рукописи следует:

«Гляжу назад, гляжу в себя и вижу: равнина, луна, одинокий ездок, бесы — что после этого прибавилось? Ничего. В Бесах всё, что мне потом пришлось полюбить, и не отсутствует ничего, что бы я потом полюбила: поэт, простор, пень, волк, простой народ и — те, они...»

«Только тогда все это было еще вне меня, т. е. мне приходилось быть луною, санями, волком, теперь же все это — во мне: луна, сани, волк, — поэт стал мною. Разрежьте меня и увидите, что во мне кроме луны, саней, волка, пней и... нет ничего. Зато в каждой моей частичке — всё».

*Пачёвской ивовой долиной.* — Пачёво — деревня неподалеку от тарусской дачи «Песочная».

*Не едет ли Пушкин.* — После этих слов в рукописи шло:

«А комната, где окно, — есть — или нет?.. Такая картина или картинка, где Пушкин у деревянного стола, встав и подняв правую руку, читает сам себе с длинной бумаги стихи, а няня — та самая, что у Татьяниной постели, в очках и в чепце — слушает.

Была или нет такая картина — я ее видела, думая о няниной Татьяне, т. е. няню не одну, а с Пушкиным, подругу дней моих суровых, так, что если та няня, у дома, обернется, от окна отвернется — то увидит себя ту, счастливую, с читающим Пушкиным».

*Не женщина.*— После этих слов в рукописи шло:

«И няня эта его несомненно любила больше, чем все его красавицы. Значит, дело не в любви, а в родстве.

В няне Пушкина всем нам на старости лет — великое утешение. Права любить у нас никто не возьмет».

*Такой нежности словá к старухе... у... Марселя Пруста* — в многотомном мемуарном романе М. Пруста (1873—1922) «В поисках утраченного времени», в начале которого автор с огромной любовью вспоминает свою бабушку, «добрую» и «смирненную сердцем».

*Умнейшего мужа России*—перефразировка слов Николая I, заявившего в придворном кругу после встречи с Пушкиным 8 сентября 1826 года, что он «говорил с умнейшим человеком России».

«*Воздушный корабль*» — стих. М. Ю. Лермонтова, «*Ночной смотр*» — стих. В. А. Жуковского.

*La Chaix de Fonds* — швейцарская деревня, откуда была родом вторая жена А. Д. Мейна, выросшая и воспитавшая рано осиротевшую мать М. И. Цветаевой.

*Почему же он не поехал?*— После этих слов в рукописи шло:

«Этого спросить мне и в голову не пришло. А спросили бы — да потому, что могучей страстью очарован, так хочет, что не может с места сдвинуться, так любит, что прирос. В этом меня утвер-

ждал весь мой детский опыт с моими желаниями, начиная с любимого пирожного, которого никогда не возьму, и кончая Сережей Иловайским, которому я никогда не скажу, что его люблю.

Но — не беря пирожного, не признаваясь в любви Сереже Иловайскому, не садясь на корабль — насколько мы счастливее вас!»

*Надя Иловайская*, а также *Сережа* (см. предыдущее прим.) — родственники детей И. В. Цветаева от первого брака с В. Д. Иловайской — В. И. и А. И. Цветаевых.

*Модан* — городок, возле которого находится тоннель, соединяющий Францию и Италию.

*Викторов-Эммануилов* — названия итальянских гостиниц (по имени Виктора-Эммануила II (1820—1878), итальянского короля).

*Впервые глядела на Блока* — 9 мая 1920 года на чтении Блока в Московском политехническом музее, после чего Цветаева в этот же день написала обращенное к Блоку стихотворение «Как слабый луч...» с примечанием: «В день, когда взрывались пороховые погреба на Ходынке и падали стекла из Политехнического музея, где читал Блок».

*Стихия свободной стихии...* — из стих. Б. Пастернака «Тема с вариациями. Вариации. I. Оригинальная» (1918). Обращено к Пушкину.

### ПУШКИН И ПУГАЧЕВ

Опубликовано в журнале «Русские записки», Париж — Шанхай, 1937, № 2. Рукопись произведения с некоторыми несущественными по сравнению с публикацией разночтениями — в московском архиве М. И. Цветаевой.

*Поэт — издалека заводит речь...* — из цикла М. Цветаевой «Поэт». I. (1923).

*Из сказок Гримма, Полевого, Перро.* — Гриммы — братья Якоб и Вильгельм, немецкие филологи, собравшие и обработавшие в начале XIX века немецкие народные сказки.

Полевой Н. А. (1796—1846) — русский журналист, писатель и критик.

Перро Ж. Ж. (1628—1703) — французский писатель, автор знаменитых «Сказок».

*Но люблю я одно — невозможно...* — из стих. Иннокентия Анненского «Невозможно» (1907).

*Есть упоение в бою...* — песня Председателя из «Пира во время чумы» Пушкина, которую Цветаева перевела в 1936 году на французский язык.

См. также ниже отрывок из статьи «Искусство при свете совести».

*Николай I — Пушкину... — На Сенатской площади, ваше величество!* — Цветаева не вполне точно передает разговор, состоявшийся между Пушкиным и Николаем I 8 сентября 1826 года во время аудиенции, данной царем возвращенному из ссылки поэту. Разговор этот записан со слов самого Пушкина, а также со слов Николая I (см. В. Вересаев, «Пушкин в жизни», вып. II, изд. 2-е, М., 1927, с. 53).

*Самодержец — поэт — за правду — приковал.* — Николай I, взявший на себя цензуру пушкинских произведений после встречи с ним 8 сентября 1826 года (см. предыдущее примечание), не разрешал поэту покидать пределы России, а также не пускал его в отставку. Ср. отрывки из очерка «Наталья Гончарова», стих. «Бич жандармов, бог студентов...», «Петр и Пушкин» и примечания к ним.

## КОММЕНТАРИИ

*Отблеск далекой любви Саула к Давиду.*— По библейскому преданию, когда к Саулу, царю израильскому, привели юного Давида, пасшего овец, последний «очень понравился ему и сделался его оруженосцем... Давид играл на гуслях, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него» (I кн. царств, гл. 16).

*Первый французский перевод «Капитанской дочки»* (автор его — Луи Виардо) был осуществлен в 1866 году.

*Могучей страстью очарован...* — из стих. Пушкикина «К морю», переведенного Цветаевой на французский язык в 1936 году.

*Богинин облак* — из «Илиады» Гомера: во время единоборства Париса с Менелаем Афродита окутала побеждаемого Париса облаком и унесла его в Трою.

*Жавер... кроме последнего жеста* — из романа В. Гюго «Отверженные»: полицейский сыщик Жавер, всю жизнь преследовавший Жана Вальжана, отпустил его, оплатив добром за добро.

*Как аттический солдат...* — из стих. О. Э. Мандельштама «Теннис» (1913).

*Надписи на памятнике Фальконета* — на открывшемся в 1782 г. памятнике Петру I в Петербурге:

«Petro Primo Catharina Secunda; MDCCLXXXII»  
Петру Первому — Екатерина Вторая. 1782.— лат.)  
Фальконэ Э. М. (1716—1791) — знаменитый скульптор, автор памятника.

*Ты проклянешь в мучениях невозможных...* — из стих. А. Блока «О нет, не расколдуешь сердца ты...»

*Капитана Скотта... полярные дневники.* — Скотт Роберт (1868—1912) — английский полярный иссле-

дователь. «Дневник капитана Скотта» вышел на русском языке в 1934 году.

*Поручик Державин* — русский поэт Г. Р. Державин (1743—1816), принимавший участие в подавлении пугачевского движения.

*Чуть не погибший от пугачевского дротика.*— Об этом Пушкин в «Истории Пугачева» пишет так:

«4 августа узнали в Саратове, что Пугачев выступил из Пензы и приближается к Петровску. Державин потребовал отряд донских казаков и пустился с ними в Петровск, дабы вывезти оттуда казну, порох и пушки. Но, подъезжая к городу, услышал он колокольный звон и увидел передовые толпы мятежников, вступающие в город, и духовенство, вышедшее к ним навстречу с образами и хлебом. Он поехал вперед с есаулом и двумя казаками и, видя, что более делать было нечего, пустился с ними обратно к Саратову. Отряд его остался на дороге, ожидая Пугачева. Самозванец к ним подъехал в сопровождении своих сообщников. Они приняли его, стоя на коленях. Услыша от них о гвардейском офицере, Пугачев тут же переменял лошадь и, взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками поскакал за ним в погоню. Один из казаков, сопровождавших Державина, был заколот Пугачевым. Державин успел добраться до Саратова...» (Пушкин использовал не опубликованные в то время «Записки» Державина.)

*Суворова, целую ночь стерегущего пленного Пугачева.*— А. В. Суворов (1730—1800) был послан на «усмирение» пугачевцев. Прибыв к месту, где находился Пугачев, он повез его в Симбирск. А. С. Пушкин пишет:

«Пугачев сидел в деревянной клетке на двухколесной телеге. Сильный отряд при двух пушках окружал его. Суворов от него не отлучался. В деревне Мостах (во сто сорока верстах от Самары) случился пожар близ избы, где ночевал Пугачев. Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном, резвым и смелым мальчиком, и всю ночь Суворов сам их караулил» («История Пугачева», гл. 8).

«Соборяне» — роман Н. С. Лескова (1831 — 1895); любимое произведение Цветаевой.

*Странные есть мужики... необозримой Руси* — неточная цитата из стих. Н. С. Гумилева «Мужик».

*Пугачев «Истории пугачевского бунта».* — Под названием «История пугачевского бунта», самолично данным книге Пушкина Николаем I, она вышла в свет в 1834 году (Пушкин назвал свой труд «История Пугачева»).

*Стенька Разин.* — В 1917 году Цветаевой был создан цикл «Стенька Разин» из трех стихотворений. Печатаются стихи о Разине в том же номере «Русских записок», что и «Пушкин и Пугачев», она предпослала им эпиграф из «Пушкина и Пугачева»:

«О Разине с его Персиянкой — поют,  
О Пугачеве с его Харловой — молчат».

*Поясняет Екатерина в письме к Вольтеру.* — Письмо Екатерины II к Вольтеру от 22 октября 1774 года приведено Пушкиным в «Истории Пугачева» (в «Примечаниях к главе осьмой»).

*Очная ставка дат... «История пугачевского бунта»* — 1834 г. — «История Пугачева» написана была в 1833 году, напечатана — в 1834 году. «Я думал некогда написать исторический роман, относящий-



ся ко временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал «Историю Пугачевщины»,— писал Пушкин А. Х. Бенкендорфу 6 декабря 1833 года.

*Тьмы низких истин мне дороже...*— из стих. А. С. Пушкина «Герой».

*По сему, что поэт есть творитель...*— Сокращенная перефразировка высказывания русского поэта В. К. Тредиаковского (1703—1769) из его работы «Мнение о начале поэзии и стихов вообще». Слова эти Цветаева многократно цитировала в записях и письмах и взяла эпиграфом к своей книге стихов «После России» (1928). У Тредиаковского:

«От сего, что пиит есть творитель, вымыслитель и подражатель, не заключается, что он был лживец. Ложь есть слово против разума и совести, то есть когда разум или прямо не знает, так ли есть то, что язык говорит, или когда совесть точно известна, что то не так, как уста блядословят. Но пиитическое вымышление бывает по разуму, то есть как вещь могла быть, или долженствовала».

*Самописалась.*— Далее в рукописи вычеркнуто:

«Как Пушкин... пишучи, над страницей дышал, так и Капитанскую дочку он надышал над Историей пугачевского бунта.

В дереве важен корень. Но корень важен — чтобы было дерево. Из черного корня Пугачевского бунта Пушкин дал нам зеленое дерево».

*Пушкин о Наполеоне... отвечая... резонеру, разубеждавшему его в том, что Наполеон в Яффе прикасался к чумным.*— *Прикасался!*— В стих. Пушкина «Герой» Поэт говорит, что душою его владеет образ Наполеона — не «кесаря на троне», а живого человека, который, «нахмурясь, ходит

## КОММЕНТАРИИ

меж одрами и хладно руку жмет чуме» (в 1799 году Наполеон посетил чумной госпиталь в Яффе и, по преданию, чтобы ободрить больного чумой, пожал ему руку). Возражая Поэту, Друг («досужий резонер») ссылается на «строгого историка» (Бурьенна), утверждавшего в своих «Мемуарах», что Наполеон к чумным не прикасался. (В действительности «Мемуары» Бурьенна оказались подложными.)

*Тьмы низких истин.*— После этого в рукописи шло:

«Истина, тем, что низка, уже не истина, а возвышающий обман тем, что возвышающий — уже не обман. Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины...

Есть счастливые случаи, когда совершенная судьба. Какой поэт о Ж. д'Арк... не приравняет ее протокола? Так в Иоанне протокол равен преданию. Но к таким (совершенным и в совершенстве священным)... поэт прикасается неохотно, и Орлеанская дева Шиллера — неудачно. Там, где поэт не может преображать, ему нечего делать.

Есть в жизни человеческие минуты; на них можно только указать — и пройти мимо».

*Три тома пугачевского архива... мужичьим царем.*— В 1926—1931 годах (М.—Л.) вышла трехтомная «Пугачевщина», где был опубликован, в частности, большой архив Пугачева (его указы, манифесты, «прелестные» письма), а также много побочных материалов, свидетельствующих о громадной популярности и народности «пугачевщины». Пушкину, писавшему «Историю Пугачева», не были доступны многие материалы, относящиеся к пугачевскому движению. Так, он не смог познакомиться

ся во время своей работы со «Следственным делом о Пугачеве», в выдаче которого ему было отказано. Позднее, уже после выхода «Истории Пугачева», Пушкину разрешили доступ к «Следственному делу». В 1835 году он писал дополнения к своей «Истории», которую намеревался переделать и издать вновь (см. А. С. Пушкин, Собр. соч., т. 7, М., 1962, с. 388).

### СТИХОТВОРЕНИЯ

Встреча с Пушкиным. Оpubл. в газ. «Дни», Берлин—Париж, 1924, № 481, 8 июня, с подзаголовком: «Из неопубликованной книги «Юношеские стихи». Это — первое стихотворение Цветаевой, обращенное к Пушкину.

«Счастье или грусть...» Оpubл. там же, где и предыдущее стих., под названием «Наташа». Печ. по белой рукописи 1938—1939 годов.

Психея. Оpubл. там же, где два предыдущих стихотворения. Посвящено Н. Н. Пушкиной. «Заставать ее по вечерам и думать нечего: ее забрасывают приглашениями то на бал, то на раут. Там от нее все в восторге, и прозвали ее Психеею» («Пушкин в жизни», вып. III, с. 75).

СТИХИ К ПУШКИНУ (1—5). Первые четыре стихотворения были опубликованы в столетнюю годовщину со дня гибели Пушкина, в 1937 году, в парижском журнале «Современные записки» (№ 63). 5-е впервые опубликовано в «Дне поэзии» за 1956 год. Все стихотворения печатаются по белой рукописи 1939 года.

1. «Бич жандармов, бог студентов...»  
*Две ноги свои — погреться — вытянувший.* — Во время аудиенции, данной Николаем I в Кремлев-

ском дворце вернувшемуся из ссылки Пушкину, последний «обратился спиной к камину и говорил с государем, обогревая себе ноги» («Пушкин в жизни», вып. II, с. 55). *На стол вспрыгнувший при самодержце.*— Во время той же аудиенции Пушкин «незаметно для самого себя приперся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: «С поэтом нельзя быть милостивым!» (Там же). *Небо Африки своим Звавший, невское — проклятым.*— Имеется в виду строка из «Евгения Онегина»: «Под небом Африки моей»; в письме к Вяземскому от 27 мая 1826 года Пушкин говорит о «проклятой России», в которой он вынужден сидеть «на привязи», ибо царь не разрешал ему покидать пределы страны. *Авгуры*— в древнем Риме жрецы-«прорицатели». Цветаева отождествляет с ними эмигрантских «пушкиноведов». *Царскую цензуру только с душой рифмовал*— в сказке «Царь Никита и сорок его дочерей». *А «Европы Вестник»*— с...— в эпиграмме, ошибочно приписывавшейся Пушкину (см. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. I, ч. 1, М., 1919, с. 384). *Всех румяней и смуглее*— измененная строка из пушкинской «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». *Беженство... белокровье мозга, морга синь.*— Цветаева имеет в виду эмигрантских пушкиноведов. *Трусават был Ваня бедный*— из стих. Пушкина «Вурдалак» («Песни западных славян»). *Голубей олив... лоб*— из цикла Б. Пастернака «Темы и вариации», стих. «Вариация 4», обращенное к Пушкину. (У Пастернака: «Лбы голубее олив».)

2. *Петр и Пушкин. Кнастер*— сорт табака. *Петро-диво, Петро-дело*— Петербург. *Ганнибал*—

прадед Пушкина, сын абиссинского вождя, похищенный турками и присланный в подарок Петру I русским посланником в Турции. *На волю? Изволь!*— Николай I не пустил Пушкина в отставку (см. прим. к «Наталье Гончаровой»). *Отныне — я — цензор.*— После возвращения Пушкина из ссылки Николай I взял на себя цензуру его произведений. *Снегов Измаил.*— Измаил (библ.) — сын патриарха Авраама и его рабыни Агари, которая, по настоянию жены Авраама, была с сыном изгнана и поселилась в Аравийской пустыне. Согласно более позднему преданию, Измаил считался родоначальником арабов. *Архивами не заморил.*— См. прим. к «Наталье Гончаровой». *Василиск* — сказочный змей, убивавший взглядом. *Полтавских не комкал концов.*— Неточность: будучи цензором Пушкина, Николай I смотрел «Медного всадника», а не «Полтаву» (уже вышедшую к тому времени). Пушкин не согласился с замечаниями, и при его жизни поэма света не увидела. *Недостойным потомком... Петра был сослан в румынскую область.*— В 1820 году, за ряд политических стихотворений, Пушкин был сослан Александром I в Екатеринослав, Одессу, затем в Кишинев. *Сына убил сробевшего.*— В 1718 году Петр I подписал смертный приговор своему сыну, вокруг которого сгруппировались реакционные противники петровских реформ.

4. «Преодолень е...» *На фуру несший: «Атлета мускулатура...»* — «А. О. Россет перекладывал тело Пушкина в гроб. ... Мне припоминалось, какого крепкого, мускулистого был он сложения, как развивал он свои силы ходьбою» («Пушкин в жизни», вып. IV, с. 153).

5. (I) «Потусторонним...» *Потусторонним*

## КОММЕНТАРИИ

*залом царей.*— До революции на территории Московского Кремля был установлен памятник Александру II, окруженный галереей, потолок которой был украшен портретами предков Александра II, выполненными венецианской мозаикой. *Польского края — зверский мясник.*— Николай I жестоко подавил польское восстание в августе 1831 года.

(II) *Нет, бил барабан перед смутным полком* — измененная строка из стих. ирландского поэта Ч. Вольфа «На погребение английского генерала сэра Джона Мура» в русском переводе И. И. Козлова (1825). *Жандармские груди и рожки.*— По свидетельству П. А. Вяземского, в день выноса тела Пушкина в его доме, «где собралось человек десять друзей и близких... очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы» («Пушкин в жизни», вып. IV, с. 163). *Точно воры ворá... выносили.*— В. А. Жуковский вспоминает: «Назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какою-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на которую собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви» (там же, с. 162—163). *Умнейшего мужа России* — см. прим. к «Наталье Гончаровой», с. 265. В черновой тетради «Стихов к Пушкину» — записи Цветаевой:

«Раскошешься за собственный нрав  
Дерзкий — исчерпана тема!» —  
Царь — оскопив, извратив, обкарнав  
Похороны, как поэму!

*Вынос* в 1-м часу ночи из дому в церковь Конюшенную. NB! Государь спросил, почему не в мундире положен. Вяземский положил в гроб печатку...

Хочется: Смерть Пушкина и Двор. Похороны Пушкина и танцующий Николай».

### ИЗ СТАТЬИ «ПОЭТ О КРИТИКЕ»

Статья была опубликована в 1926 году в журнале «Благонамеренный», Брюссель, № 2. Направлена против беспомощной, «белокровной», непрофессиональной эмигрантской критики.

*Лже-пушкинское двустиише* — В. А. Жуковско-го; подлинный пушкинский текст на памятнике был восстановлен в 1937 году.

### ИЗ ОЧЕРКА «НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА»

Очерк «Наталья Гончарова», опубликованный в журнале «Воля России», Прага, 1929, № 5—9, был написан Цветаевой в 1928 г., после знакомства ее с известной русской художницей Натальей Сергеевной Гончаровой (1881—1962), с которой она впоследствии дружила долгие годы. Н. С. Гончарова иллюстрировала поэму-сказку Цветаевой «Молодец» для подготовлявшегося в 30-е годы в Париже, но не осуществившегося издания.

Н. С. Гончарова приходилась внучатой племянницей жене А. С. Пушкина. Этим и объясняется тот факт, что значительное место в очерке Цветаева уделила Н. Н. Гончаровой и, естественно, А. С. Пушкину. При работе над печатаемыми ниже отрывками Цветаева, по собственным словам, «с восхищением и благодарностью» воспользовалась только

что вышедшим тогда трудом В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» (вып. I—IV, М., 1927—1928). Ссылки на это издание даются в сокращении.

*Если из трех сестер — младшая, то есть Н. Н. Гончарова.*

*Из разорившейся и бестолковой семьи.*— Отец Н. Н. Гончаровой, Николай Афанасьевич (1788—1861),— разорившийся помещик, владелец Полотняного Завода в Тульской губернии; под старость — душевнобольной. Мать — Наталья Ивановна (1785—1848), внебрачная дочь генерал-лейтенанта И. А. Загряжского; у Гончаровых было три дочери и двое сыновей.

*Здесь всё тихо... Жаль Пушкина... Мнение твое я разделяю...*— Все три реплики (первая и третья принадлежат Николаю I, вторая — генерал-лейтенанту кн. Паскевичу) приведены в книге «Пушкин в жизни», вып. IV, с. 177.

*Беседа с «умнейшим человеком России»* — слова Николая I, сказанные после данной им 8 сентября 1826 года аудиенции возвращенному из ссылки Пушкину.

*Мундир камер-юнкера* был «пожалован» Пушкину 30 декабря 1833 года. «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове» (запись Пушкина в дневнике от 1 января 1834 года). О гневе и горечи Пушкина в связи с этой унижительной «милостью» свидетельствуют письма его к жене, вспоминают друзья поэта.

*Открытый доступ в архив* был разрешен Пушкину в 1831 году для работы над «Историей Петра», затем — «Историей Пугачева».



*Ты — в отставку, а я тебе архивную дверь под носом.* — 25 июня 1834 года Пушкин просил отставки от царской службы (в Иностранной коллегии). Отклоняя просьбу поэта, Николай I пригрозил, что лишит его возможности «посещать архивы», и Пушкину пришлось просьбу об отставке взять обратно.

*Читайте... я не слушаю* — См. «Пушкин в жизни», вып. III, с. 78.

*Я иногда вижу во сне...* (А. О. Смирнова. *Записки...*) — См. там же. В действительности записки А. О. Смирновой оказались фальсифицированными: они принадлежали ее дочери, О. Н. Смирновой.

*Княгиня Волконская* (урожденная Раевская) Мария Николаевна (1805—1863), жена декабриста С. Г. Волконского, последовавшая за мужем в сибирскую ссылку.

*Он дал мне на выбор Гаврилу и Григория* — ср. «Пушкин в жизни», вып. III, с. 153. Гаврила Григорьевич Пушкин, по прозвищу Слепой (ум. 1638), приверженец Лжедмитрия, и брат его Григорий Григорьевич, по прозвищу Сулемша, — предки Пушкина, погибшие в Смутное время.

*Керн А. П.* (1800—1879) — приятельница Пушкина, к которой обращено его стихотворение К\*\*\* («Я помню чудное мгновенье...»).

*Дворцовые ламповщики... в... замечании Вяземского* — см. «Пушкин в жизни», вып. III, с. 57, 58, 15.

*Огончарован* — выражение, приписываемое Пушкину (см. А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. I, М., 1919, с. 356).

*Россет* (в замужестве — Смирнова) Александра Осиповна (1809—1882) — друг Пушкина, фрейлина.

*Раевская* — см. выше («княгиня Волконская»).

*Филимон и Бавкида* (греч. миф.) — трогатель-

ная и благочестивая чета старых супругов, приютившая посетивших их в образе путников Зевса и Гермеса (Овидий, *Метаморфозы*, VIII).

*Элоиза* (ок. 1100—1164) и *Абеляр* (1079—1143, прославленный средневековый философ и богослов), после тайного венчания были насильно разлучены до конца жизни и приняли монашество.

*Тристан и Изольда* — герои средневекового рыцарского сказания; легендарные любовники, претерпевшие жестокую разлуку и трагически погибшие.

*Зигфрид, не узнавший Брунгильды* — из «Кольца нибелунгов» — поэтической и музыкальной обработки композитором Р. Вагнером немецкого эпоса. Королевич Зигфрид, некогда любивший отважную и гордую Брунгильду, но разлученный с нею и забывший ее благодаря выпитому им волшебному напитку, помогает жениться на ней королю Гюнтеру.

*Пенфезилея, не узнавшая Ахилла*. — По греческому преданию, Ахилл во время Троянской войны вступил в бой с царицей амазонок Пенфезилеей. Сняв шлем с убитой им Пенфезилеи, он был поражен ее красотой и почувствовал, что им овладела любовь к погибшей. На тему «разрозненные пары» Цветаевой был написан цикл «Двое» из двух стихотворений (1924).

*С заездом на Арбат, в дом Хитровой*. — Хитрова Н. Н. — владелица дома на Арбате, где жил А. С. Пушкин.

*Жуткая подробность*. — См. «Пушкин в жизни», вып. IV, с. 116.

*Пушкин должен был быть убит человеком на белой лошади... ошибочно считал его Вейскопфом... одним из генералов польской войны... — «Пушкин был... исполнен веры в разные приметы. В Петер-*

бург раз приехала гадательница Кирхгоф. Она, между прочим, предвещала ему, что он умрет или от белой лошади, или от белой головы (Weiskopf). После Пушкин... думая отправляться в Польшу, говорил, что, верно, его убьет Вейскопф, один из польских мятежников, действовавших в тогдашнюю войну» (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. Л., 1925, с. 40).

*Делать было нечего... Гр. В. А. Соллогуб — обиженный им!* — См. «Пушкин в жизни», вып. IV, с. 18. Речь идет о ссоре Пушкина с графом В. А. Соллогубом (1813—1882) в феврале 1836 года. Пушкин вызвал его на дуэль, поверив сплетне о том, что тот наговорил его жене «дерзостей»; недоразумение было улажено.

*Я его тоже прощаю.* — См. «Пушкин в жизни», вып. IV, с. 139.

*Мария-Луиза (1791—1847)* — жена Наполеона, французская императрица. После его изгнания на о. Святой Елены состояла в мorganатическом браке с графом А. А. Нейпергом (1775—1829), австрийским генералом.

*Архалук.* — См. «Пушкин в жизни», вып. IV, с. 114.

*На вынос тела не явившись...* — См. там же, с. 163.

*То, что вы мне говорите... Ты спрашиваешь меня.* — См. там же, с. 188.

*Носи по мне траур...* — См. там же, с. 146.

*...в настоящий триумф.* — См. там же, с. 189.

*Спящий в гробе и дальше* — неточная цитата из баллады Шиллера «Торжество победителей» в переводе В. А. Жуковского.

## КОММЕНТАРИИ

*Жена моя прелесть...* — из письма А. С. Пушкина теще, Н. И. Гончаровой, от конца августа 1834 года.

*Дело прошлое... солгал или нет — Дантес?* — «Соболевский рассказывал, что виделся с Дантесом, долго говорил с ним и спросил: «Дело теперь прошлое, жил ли он с Пушкиной?» — «Никакого нет сомнения», — отвечал тот» («Пушкин в жизни», вып. IV, с. 185).

*Он уверял... Le diable s'en est mêlé.* — См. там же.

*Еще застала сына Пушкина* — Александра. См. «Мой Пушкин» и примечания.

*Соседнем дому Гончаровых.* — Семья Н. С. Гончаровой жила в доме № 7 по Трехпрудному пер.

## ИЗ СТАТЬИ «ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ»

Статья была опубликована в журнале «Современные записки», Париж, 1934, № 50, 51. В приведенном отрывке Цветаева разбирает песню Вальсингама из «Пира во время чумы», в 1936 году переведенную ею на французский язык.

*Бедлам* — дом умалишенных в Лондоне; *Шарантон Ле-Пон* — город во Франции, где находится дом умалишенных.

## ИЗ СТАТЬИ «ПОЭТ И ВРЕМЯ»

Статья была опубликована в журнале «Воля России», Прага, 1932, № 1—3.

*Крик... (тогда восемнадцатилетнего) Маяковского: долой Шекспира!* — Описка Цветаевой. Речь идет о знаменитой декларации «Пощечина общественному вкусу» (1912), подписанной Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским, В. Хлебниковым, где

была такая фраза: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности»; фраза эта стала крылатой и обычно приписывалась одному Маяковскому.

### ИЗ ПИСЕМ И ЧЕРНОВЫХ ТЕТРАДЕЙ

*Ризнич* Амалия (1803(?) — 1825) — жена итальянского негодянта, жившего в Одессе. Пушкин посвятил ей стих. «Простишь ли мне ревнивые мечты...» (1823), «Для берегов отчизны дальней...», «Под небом голубым страны своей родной...». А. Ризнич умерла в Италии от чахотки.

*М. Раевская* — см. прим. к очерку «Наталья Гончарова».

*Единственный памятник...* и т. д. — запись при работе над циклом «Стихи к Пушкину», названным в черновой тетради «Памятник Пушкину».

*Работала над пушкинскими переводами.* — В 1936 году, в канун столетней годовщины со дня гибели Пушкина, Цветаева отдала много времени и сил переводам стихотворений Пушкина на французский язык. То была работа не по чьему-либо заказу, а по чистому вдохновению, желанию подарить французскому читателю подлинную поэзию Пушкина, не искаженную и не ослабленную переложением на другой язык. Цветаева достигла в своих переводах блестящего мастерства, добившись сочетания точности передачи пушкинского подлинника с совершенством поэтическим. Она перевела на французский язык следующие стихотворения Пушкина: Песню из «Пира во время чумы», «Пророк», «Для берегов отчизны дальней...», «К няне», «К морю», «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»),

«Бесы», «Свободы сеятель пустынный...», «Заклинание», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Стансы», «Поэту» («Поэт! не дорожи любовью народной...»), «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Друзьям» («Враги мои, покамест я ни слова...»). Лишь меньшая часть этих переводов увидела свет («К няне», «Бесы», «К морю»).

**А. Эфрон, А. Саакянц**

---

## *Содержание*

<b>«СИЛЬНАЯ ВЕЩЬ — ПОЭЗИЯ» . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>МОЙ ПУШКИН . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>ПУШКИН И ПУГАЧЕВ . . . . .</b>	<b>76</b>
<b>СТИХОТВОРЕНИЯ . . . . .</b>	<b>117</b>
<b>ОТРЫВКИ . . . . .</b>	<b>130</b>
<b>КОММЕНТАРИИ . . . . .</b>	<b>164</b>

---

---

**МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА**

***Мой Пушкин***

Редактор

**Т. А. Лебедева**

На переплете репродукция с литографии  
А. С. Пруцкого (А. С. Пушкин)

Оформление

**Н. А. Кудричева**

Техн. редактор

**Т. В. Плотникова**

Корректор

**Н. В. Канищева**

Сдано в набор 2.08.77 г.

Подписано к печати 27.03.78 г.

Формат бумаги 70×100/32 —

6 физ. п. л., 7,8 усл. п. л., 7,84 уч.-изд. л.

Тираж 300 000 экз.

(Завод 1 — 30 000 экз.)

Бумага № 2.

Южно-Уральское  
книжное издательство,

г. Челябинск,

пл. Революции, 2.

Областная типография

Челяб. обл. управления издательств,

полиграфии и книжной торговли,

г. Челябинск,

ул. Творческая, 127.

Заказ № 4418.

Цена 35 коп.

---



Ц27      **Цветаева М. И.**  
          Мой Пушкин.            Челябинск, Юж.-  
Уральск. кн. изд-во, 1978.

190 с.

В состав сборника Марины Цветаевой, посвященного Пушкину, входят очерки «Мой Пушкин», «Пушкин и Пугачев», несколько стихотворений разных лет и отрывки из статей «Наталья Гончарова», «Искусство при свете совести» и др. Завершают книгу высказывания Марины Цветаевой о Пушкине, почерпнутые из ее писем и черновых тетрадей.

35 к.



МАРИНА ЦВЕТАЕВА  
МОЙ ПУШКИН

ЮЖНО-  
УРАЛЬСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО



ЧЕЛЯБИНСК · 1978